

Ури Авнери

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Перевел с английского
Самуил Черфас

по изданию

1948
A SOLDIER'S TALE
THE BLOODY ROAD TO JERUSALEM
PART TWO: The Other Side of the Coin

Translated by Christopher Costello

ONE WORLD
OXFORD
2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	7
Долгие ночи.....	10
Радио.....	16
Юность в «Иргуне».....	30
Село и коровы.....	42
Первое перемирие.....	50
Мечта поколений.....	69
Захват деревни – как в кино!.....	78
Последние слова Санчо.....	87
Солдат.....	101

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Жертвам следующего круга»

Работая над подготовкой к публикации в одном томе моих двух книг: «На полях филистимлян» и «Другая сторона медали», я испытал странное ощущение. Я перечитывал их впервые почти за шестьдесят лет.

Будто Ури Авнери, достигший восьмидесяти одного года, встретился лицом к лицу с двадцатипятилетним Ури. Два разных, но один и тот же человек. Двадцатипятилетний – часть восьмидесятиоднолетнего, и память одного из них неотделима от памяти другого. Но как далек этот молодой Ури! Он совсем иной, почти неузнаваем за туманом лет.

У пожилого Ури большой опыт. Он преодолел немало трудностей на своем пути, стал лучше разбираться в исторических и политических процессах, и сейчас пытается понять того парня, его опасения и надежды, его добрые и дурные поступки, дух тех дней. Не всегда это было мне просто, как не будет просто и сегодняшнему читателю.

Если бы я писал эти книги сейчас, они вышли бы другими, очень во многом другими. Потому что тогда они отражали происходившее, как видел его участник и современник. Но я решил оставить книгу такой, какой написал ее в двадцать пять лет, чтобы читатель мог ощутить события 1948 года, как я ощущал их тогда, а не как представлю их сейчас, спустя полвека.

В каждом историческом событии есть субъективная и объективная правда. Первая – это правда тех, кто непосредственно в нем участвует, а вторая – представляет факты, выкристаллизовавшиеся с ходом лет. Для войны 1948 года эта пропасть чрезвычайно широка.

В книге «На полях филистимлян» я рассказал о чувствах, которые испытывали еврейские бойцы той войны, о том, что они знали тогда, о чем думали, как воспринимали происходившее. Очень трудно определить жанр этой книги, возникшей в совершенно необычных условиях. Ее нельзя назвать ни повествованием, ни дневником – это что-то совсем иное.

Когда началась война, я пошел в армию добровольцем. Один мой знакомый, замредактора газеты, спросил, не смогу ли я время от времени присылать ему заметки о своих впечатлениях и наблюдениях. Не задумываясь, я ответил, что попробую. Честно говоря, я и сам толком не понимал, что пообещал ему. Писать для газеты? Тогда мне это и в голову не приходило. Но в следующие месяцы писание стало моей страстью. Я всё время что-то писал: это помогало мне снять напряжение, преодолеть страх, переварить случившееся.

Я делал заметки перед боевой операций, во время и после нее. Когда изнурительная схватка заканчивалась, а мои товарищи валились с ног и раздавался храп, я вытаскивал карандаш, бумагу и начинал писать. Я писал лежа на земле, в окопе, на капоте джипа. Писал в солдатской столовой в окружении сотен галдящих товарищей и ночью на кровати.

Я не вел дневника. Дневник – это диалог с самим собой, запись своих самых сокровенных мыслей. Но мои записи предназначались для печати. Я знал, что на следующий день они появятся в газете черным по белому. Все их печатала «Йом-Йом» (День за днем) – вечерний выпуск крупной ежедневной израильской газеты «Ха-Арец» (Страна). Но каким же образом мои корреспонденции попадали на редакционный стол в далеком городе? Это самое удивительное во всей истории. Я обычно бежал к дороге, останавливал интендантский грузовик и просил шофера оказать мне услугу и завезти мои бумаги в редакцию. Иногда кто-то из товарищей получал короткое увольнение, и я просил его оторвать час драгоценного времени, купить конверт с маркой и отправить мои записки по почте. И вот какое чудо: ни один из десятков моих репортажей не потерялся, все они попали в редакцию.

Товарищи по роте свыклись с моим пристрастием. Они знали, что Ури что-то пишет, Йосси играет на органе, а Моше не пропустит ни одной девчонки. Если они были чем-то недовольны, то обращались ко мне: «Ури, напиши об этом». И когда не находившие себе места

родители спрашивали: «Как ты там?», а ребятам не охота было вдаваться в долгие объяснения, они отвечали: «Читайте, что пишет Ури Авнери. Тогда всё узнаете».

Каждое слово в этой книге было написано с полным пониманием того, что я нарушаю четкий и недвусмысленный запрет давать интервью или писать в газеты, не получив особого разрешения. Но мои начальники смотрели на это сквозь пальцы. Когда высокий чин с базы выказал недовольство, и меня вызывали в штаб батальона, один из офицеров пообещал доставлять мои репортажи в газету так, чтобы никто об этом не знал. После того, как мне опять, не стесняясь в выражениях, дали нагоняй и приказали прекратить свои писульки, меня вызвал комбат. Охваченный беспокойством, я доложил о своем прибытии. Мне передали коричневый конверт, а в нем письмо легендарного командира бригады Шимона Авидана. Он поздравил меня с моим репортажем об особой роли солдат пехоты. Такой была в то время наша армия...

Я хочу, чтобы не оставалось никаких неясностей. «На полях филистимлян» – первая часть этого тома – содержит отдельные репортажи, которые были написаны солдатом в момент событий. И безо всякой задней мысли они передают то сиюминутное настроение в армии. Оглядываясь из нашего времени, именно это представляется мне главной особенностью книги. Она рассказывает о том, как то поднималось, то падало настроение в боевом отряде – от охватившего всех энтузиазма в начале войны до, после нечеловеческого напряжения сил тех, кто прошел через бои – глубокого разочарования в ее конце.

Есть и еще одна отличительная черта этой книги, связанная с обстоятельствами ее появления: она содержит правду и ничего кроме правды. Но не всю правду. Были вещи, о которых мне не хотелось писать. Не хотелось, чтобы их тяжесть омрачила родителей солдата, пока шла война. Кроме того, репортажи перед публикацией должны были пройти военную цензуру. Из них вычеркивали куски, которые, по мнению цензоров, содержали военную тайну или могли отрицательно сказаться на моральном духе войск. Это привело к огорчительным пробелам.

В конце войны, когда я залечивал раны, но всё еще носил форму, один приятель предложил мне напечатать эти репортажи в виде книги. Немного поколебавшись, я согласился, добавив лишь несколько строк, чтобы читателю легче было понять связь событий. Как и в первом издании, связующие абзацы даны курсивом.

Была и еще одна проблема. Во время войны я иногда писал политические статьи, в которых излагал свои мысли в то время. В одной из них я критически высказался о ненависти к арабам, которую питали некоторые люди. Я писал, что мы – это «армия любви» – любви к своим товарищам и своей стране – а не армия ненависти. В другой статье под латинским названием «*Rax Semitica*» (Семитский мир) я предложил создать еврейско-арабскую федерацию от Марокко до Ирака. В «Йом-Йом» эти статьи сочли слишком серьезными для вечерней газеты и передали в редакцию «Ха-Арец». Там они и появились. Я решил исключить их из книги, где они оказались бы посторонними.

Я послал рукопись в крупные израильские издательства, и все они ее возвратили. «Это вчерашние новости», – ответили в одном. «Хватит с нас войны», – написали из другого. Еще мне объяснили, что они печатают произведения известных писателей, а не записки простого солдата. В конце концов, я отыскал одного малоизвестного, но отважного издателя, который согласился напечатать книгу под названием «На полях филистимлян, 1948 год».

К недоумению всех авторитетов и моему собственному немалому удивлению, книга сразу же стала бестселлером: совершенно небывалый случай в литературе на иврите того времени. За один год было выпущено десять тиражей в твердом переплете. Не собиралось ни одной свадьбы или бар-мицвы, где у нескольких гостей не было бы этой книги.

Выходили потрясающие рецензии. Кто-то писал, что я выразил «Дух Поколения». Было предложение выгравировать каждое слово на камне в назидание потомкам. Вдруг всех обуяло желание со мной встретиться. Меня засыпали приглашениями на солдатские праздники и встречи в офицерских собраниях, а все ветви израильской бюрократии стали подъезжать ко

мне. Я мог стать сотрудником любого издания. Главный редактор «Ха-Арец» предложил мне писать передовые статьи, и я принял это предложение.

Метаморфоза и в самом деле была поразительной. До войны я был в разряде всеми ненавидимых. В течение полутора лет до ее начала я издавал журнальчик «Бамаавак» (В борьбе). В нем я писал, что нам следует создать в Палестине новую ивритскую нацию, отличающуюся от всего, что ранее существовало в еврейском народе, что нам нужно осознать свои национальные интересы и вступить в союз с арабским национальным движением. Нападки «Бамаавака» на священных коров официального сионизма попортили им немало крови. В самых разных газетах появилось больше сотни гневных откликов. Один очень известный писатель съязвил, скаламбурируя название журнала на иврите, что «не борцами мы были, а облаком пыли».

Поэтому моя внезапная популярность оказалась еще более удивительной. Я мог бы купаться в лучах славы и почивать на лаврах, не зная бед, если бы случай, о котором я сейчас расскажу.

* * *

Через несколько недель после выхода книги в свет я услышал разговор двух мальчишек, сидевших за мной в автобусе. Они сетовали, что слишком молоды и не смогли попасть на войну.

К моему ужасу, они стали пересказывать «героические эпизоды» из моей книги, в которых им не довелось принять участия.

Их разговор очень расстроил меня. Раньше мне казалось, что я описывал войну достаточно мрачными красками. Но если эти парнишки увидели в ней романтику, то книга мне не удалась. И я решил написать другую книгу, чтобы открыть в ней обратную сторону медали. Я вспомнил о своих заметках в госпитале после ранения. Война закончилась. Теперь я мог писать всю правду, и понял, что это – мой долг. Кто лучше может изобразить правду, как не участники событий?

Три или четыре недели я, в страшном напряжении, отстукивал на своем крошечном «Гермесе» новую книгу. Ее главная идея была открыть темную сторону войны, и тогда обе книги вместе дали бы верное представление о том, что я испытал.

После ошеломительного успеха первой книги я полагал, что с публикацией второй не возникнет затруднений. И очень ошибся. Издатель «Филистимлян», как и все другие, ее отверг. В конце концов, мне всё же удалось найти скромного и неприметного издателя, который взялся напечатать «Другую сторону медали». Реакция на нее тоже была удивительной, но прямо противоположной. Новая книга вызвала скандал, шок, гнев и ненависть. И столь же стремительно я превратился из героя дня во врага общества номер один.

«Ложь и клевета! – неистовствовали патриоты, всю войну просидевшие дома. – Наши солдаты так не выражаются! Наши солдаты не убивают и не грабят! Они не выгнали ни одного араба! Все знают, что арабы сами решили сбежать отсюда. Они были послушны призывам своих шейхов! Наше оружие не запятнано! Наша армия – самая моральная армия в мире!»

Чего только ни делали, чтобы книга исчезла с рынка. Критики ее игнорировали. Первый тираж, однако, разошелся мгновенно, но когда издатель захотел выпустить второй, нажали на тормоз. В обнищавшей стране всё распределялось властями, которые не выделили необходимую для издания бумагу.

Но три тысячи экземпляров первого тиража делали свое дело. Книгу передавали из рук в руки, и мало кто из молодого поколения того времени не прочел ее. Переиздать «Другую сторону медали» мне удалось лишь через шесть лет. И прошло больше сорока лет после войны 1948 года, прежде чем еще кто-то осмелился описать эту войну, какой она была на самом деле.

Мне всегда хотелось опубликовать эти две книги под одной обложкой, и сейчас это желание сбылось. Чтобы такое издание стало возможным, книги пришлось несколько сократить, но мы приложили усилия к тому, чтобы ни дух, ни содержание их не пострадали.

Обе книги в этом томе дополняют друг друга, но они очень разные. «На полях филистимлян» я писал на протяжении года, часть за частью, и отдельные главки в ней окрашены разными настроениями. «Другая сторона медали» написана в один присест, и отразила только одно настроение. Герои первой книги носят свои настоящие имена, а события описаны буквально. Действующие лица второй наделены вымышленными именами, хотя имеют реальных прототипов. Сюжет – плод моего воображения, но всё происходило именно так, как описано. Я сознательно отнес эту книгу к «художественному», а не документальному жанру, чтобы иметь свободу в описании событий, не привязывая их к реальным живым людям. И поскольку книга «художественная», не было надобности представлять ее на просмотр военному цензору.

Многие мои знакомые сочли, что написав вторую книгу, я совершил литературный грех. Заканчивалась она злободневной политической главой, в которой я выразил свое недовольство политикой Бен-Гуриона, обладавшего в юной стране абсолютной властью.

Бен-Гурион искусно уложил рельсы, по которым государство Израиль катится до сих пор. По направлению движения этого поезда, мне было ясно, что столкновение и катастрофа неминуемы, и я пытался указать на возможность иного пути: построения Израиля как светской, демократической и либеральной страны, союзницы арабского национального движения и партнера по созданию региональной федерации. Сведущие люди говорили мне, что нельзя вставлять политико-идеологическую главу в литературный текст. Но я заупрямился и всё же вставил эту часть как эпилог, чтобы мои мысли достигли умов читателей. Я посвятил этот эпилог «Жертвам следующего круга».

В теперешнем английском издании эпилог опущен: то, что я писал в 1949 году, отражало реалии того времени. Я заменил его написанным для этого издания введением, в котором показал связь событий и их историческую перспективу.

По натуре я оптимист. Мне было восемь лет, когда на уроке в ганноверской школе учительница стала нам рассказывать о монументе Герману Херуску, стоящему на пьедестале «лицом к нашему заклятому врагу». «Дети, скажите мне, кто этот заклятый враг?» – спросила она, и дети хором ответили: «Франция! Франция!». Сегодня Франция и Германия входят в Европейский Союз, а французы и немцы свободно и без формальностей пересекают границу, на которой погибли миллионы из прежних поколений.

Второе издание «Другой стороны медали» я дополнил одним абзацем: «В госпитале я дал клятву. Она может показаться высокопарной и ребяческой. Я поклялся посвятить всю мою дальнейшую жизнь – спасенную четырьмя новобранцами из Марокко, которые, когда я был ранен, вынесли меня под шквальным огнем – борьбе за мир. Я часто напоминал себе об этой клятве, особенно в минуты разочарования, упадка духа или слабости».

Я надеюсь, что не нарушил и не нарушу ее, пока живу на этой земле.

*Ури Авнери
Тель-Авив*

ВВЕДЕНИЕ

Очень необычная война

29 ноября 1947 года тысячи человек вскочили с постелей и ринулись на улицы, чтобы услышать радио. Генеральная Ассамблея ООН решила разделить землю Палестины между еврейским и арабским государствами. Так и не сменив пижам, люди ликовали, кричали, пели и плясали. Я остался в постели с горьким и угнетенным чувством.

Горьким, потому что я понимал, что вскоре разразится жестокая война, на которой погибнут многие из пляшущих сегодня. А угнетенным, потому что любимая мной страна, в которой я рос с десяти лет, никогда уже не будет такой, какой была прежде.

635 000 живших в Палестине евреев ликовали, потому что могли получить свою страну, хотя бы в ограниченных пределах. Арабы оплакивали потерю значительной части земли, на которой их предки жили многие поколения.

Война началась на следующий день. Это не была обычная война, в которой страны сражаются за тот или иной участок территории. Немцы и французы в течение нескольких поколений вели борьбу за Эльзас и Лотарингию. Но французам никогда не приходило в голову стереть Германию с карты. И немец никогда бы не сказал, что нет на свете такой штуки как французская нация.

Что же в нашем случае? Евреи отрицали существование палестинского народа и поэтому, очевидно, не признавали его права на любую часть этой земли. А палестинцы утверждали, что евреи никакая не нация и вообще не имеют прав на Палестину. И те, и другие были совершенно убеждены в том, что вся территория между рекой Иордан и Средиземным морем – их родина и принадлежит только им. Как же возникла эта ситуация?

Историк Исаак Дойчер приводит такую притчу. Некий человек живет на верхнем этаже дома, в котором вспыхнул пожар. Чтобы спасти свою жизнь, он выскакивает из окна и сваливается на голову прохожего, сильно его искалечив. Между ними возникает вражда, которая становится день ото дня всё непримиримей. Это и произошло в действительности.

В конце девятнадцатого века евреи стали ощущать, что земля загорелась под их ногами. По всей Европе набирали силу национальные движения. Каждая нация, большая или малая, хотела жить в своем национальном государстве. Развивались национальные культуры, заполнявшие пространство, освободившееся после упадка великих династических конгломератов, какими были Австро-Венгрия и Османская империя. Почти все эти национальные движения были пронизаны антисемитизмом. Во Франции, стране еврейской эмансипации, прошел процесс Дрейфуса. Демонстранты кричали: «Смерть евреям!» В новом Германском рейхе антисемитизм охватил все слои населения, и само это слово появилось вместе с возникновением Рейха. Проповедник королевского двора распространял это учение. Польское движение за национальную независимость было откровенно антисемитским, как и движения многих малых народов Европы.

Евреи в националистической Европе были аномалией. Эти рассеянные по множеству стран и среди многих народов останки эпохи двухтысячелетней давности не имели своей родной страны. В то время регион Средиземноморья распадался на этнорелигиозные общины. Каждая община, будь-то Византия или Османская империя, имела собственную правовую систему. Еврей из Александрии в Египте мог взять в жены еврейку из Антиохии (современная Сирия), но не соседку-христианку.

В Европе в конце девятнадцатого века никто и помыслить не мог о Холокосте, о «Шоа»: плановом, в промышленных масштабах, уничтожении еврейского народа, но погромы в России стали недвусмысленным предупреждением.

Когда евреи поняли, что в набирающих силу национальных движениях им нет места, они решили поступить как и все другие: сформировать собственную нацию по европейскому

образцу на единой территории с общей историей и языком. Они хотели взять свою судьбу в свои руки и основать собственное национальное государство. Так родился сионизм, имевший целью создание еврейского государства в Палестине.

208 делегатов Первого сионистского конгресса, состоявшегося в 1897 году в Базеле, почти ничего не знали о Палестине. За исключением одного-двух участников, никто никогда там не был – их заботило отчаянное положение евреев в Европе. Только этим и можно объяснить бытовавшее представление, будто никто на этой земле не живет. Отсюда и лозунг: «Землю без народа – народу без земли!»

Но эта земля не была «пустой». Число ее жителей составляло полмиллиона, 90% из них – мусульмане или арабы-христиане. Они были частью большого мусульманского населения Оттоманской империи. У этих народов тоже были свои национальные устремления. Арабские интеллигенты писали национальные манифесты, офицеры-арабы создавали в турецкой оттоманской армии подпольные ячейки. Поток национального развития увлек и палестинских арабов.

Случилось, что одновременно возникли два национальных движения – сионистское и арабское – не подозревавшие друг о друге, и когда евреи начали селиться в Палестине, конфликт стал неизбежен. Еврейские поселенцы с удивлением встретили здесь арабов, которые со всё яростней сопротивлялись их присутствию. Арабы были чрезвычайно озабочены быстрым ростом числа евреев, создававших государство в государстве на их земле.

Обе группы буквально жили бок о бок. Население некоторых деревень и городов было неразделимо перемешано, но между еврейской и арабской общинами контактов почти не было. Каждая группа развивала свой мир ценностей и образов, мифов и лозунгов, не имевших ничего общего с духовным миром другой стороны. Благодаря раздельному и очень разному воспитанию выросло поколение с диаметрально противоположными отношениями и устремлениями. При отсутствии коммерческих контактов обе группы жили своей отдельной жизнью. Они говорили на разных языках, исповедовали разные религии, и каждая имела свою собственную историю.

Холокост в Европе породил почти непреодолимый напор активности в поддержку еврейских требований, а арабская оппозиция обрела новые силы с образованием в 1945 году Лиги арабских государств. Конфликт обострился после принятия ООН в 1947 году декларации о разделе. Сионистская сторона с разделом, по крайней мере, формально, согласилась, поскольку ей отходило 55% территории, хотя евреи составляли лишь треть всего населения. Арабская сторона полностью отвергла раздел. Она рассматривала его как принятое иностранцами решение отобрать у них значительную часть земли и передать ее тем, кто сюда вторгся. Правительство Британии, управлявшее подмандатной Палестиной после краха Оттоманской империи, обязалось покинуть территорию к середине мая 1948 года.

Так началась эта «этническая» война между двумя народами, в которой каждый стремился овладеть как можно большей территорией с возможно меньшим остающимся на ней «вражеским» населением. Задолго до того, как термин «этническая чистка» стал расхожим, она вошла в практику этой войны, и отнюдь не с одной только стороны.

В районах, захваченных евреями, арабов почти не оставалось, как и евреев в районах, которые захватили арабы. Изгнание арабов было более заметным, потому что евреи оккупировали гораздо большую часть территории, на которой жили арабы, чем наоборот. (Хотя арабы заняли Старый Иерусалим и Гуш Эцион – блок небольших поселений к югу от Иерусалима).

На таком фоне происходили описанные в этой книге события. Мы, солдаты, были твердо убеждены, что ведем войну за наше существование, что для всех находившихся здесь евреев это вопрос жизни и смерти. То же, естественно, ощущали и палестинские арабы. Нами всеми овладела мантра на иврите: «Эйн Брира – У нас нет выбора». До тех пор, пока – после ухода британцев в мае 1948 года – в войну не вступили регулярные арабские армии, пленных не

брали. Мы знали: сдавшегося ждет смерть. В начале войны я видел фотографии отрубленных голов наших товарищей: их торжественно носили на пиках по Старому Иерусалиму. Палестинцы тоже стали жертвами страшной резни в Дейр Ясине, где бойцы «Иргуна» и «Лехи» убили десятки мужчин, женщин и детей.

Мы знали, что 635 000 евреев вступили в борьбу с миллионами арабов: «Горстка против орды». Вооруженные арабские крестьяне блокировали почти все дороги. А затем последовало вторжение «семи арабских армий», щедро оснащенных современным оружием.

Теперь мы знаем, что наши представления оказались не совсем верными. Евреи были сплочены, хорошо организованы и располагали нигде не зарегистрированными тайно обученными и экипированными подразделениями. Арабское население, напротив, было разобщено, не имело централизованного командования, а их оружие было старым и примитивным. Арабский мир не оказывал палестинцам почти никакой помощи, а когда вмешивался, то у арабов уходило больше сил на стычки между собой, чем на борьбу с общим врагом.

Но всё это мы поняли позже, а в книге рассказано о том, как представляли себе ситуацию солдаты, творившие в это время историю, а не что стало известно позднее и вошло в учебники истории.

Если бы в конце 1948 года кто-то сказал нам, что израильско-палестинская война не угаснет и через шестьдесят лет, его бы подняли на смех. Но реальность оказалась именно такой: эта война всё еще занимает наши мысли, каждый день гибнут люди и пропасть между двумя сторонами не сокращается. В этом конфликте были обострения и спады. Уже сорок лет палестинцы страдают от жестокой оккупации. Зверства творятся с обеих сторон, и каждая считает себя жертвой другой.

В изложении событий той и другой стороной вы не найдете сходства. Израильяне, например, называют эту войну «войной за освобождение» или «войной за независимость», а палестинцы описывают ее одним словом: «Накба» – катастрофа. Многие израильяне всё еще верят, что палестинцы готовы сбросить их в море, а многие палестинцы убеждены, что израильяне хотят загнать их в пустыню. И пока людьми владеют такие представления, мира не будет.

Возможно, эта книга поможет читателю понять, что и почему произошло тогда, и что необходимо сделать, чтобы положить этому конец.

Долгие ночи

Десять вечера.

В большой палате напротив, куда не кладут самых тяжелых, выключили свет. Женский голос пожелал: «Спокойной ночи», и ему ответил хор раненых. Я ни разу не видел тех, кто там лежит, но узнаю их голоса. Вот доносится бас Шошо, потерявшего ногу, и ему вторит высокий хриловатый шепот семнадцатилетнего Узи, который поинтересовался устройством немецкой ручной гранаты, и теперь будет смотреть на мир одним глазом.

– Вот что я хочу тебе сказать, – басит Шошо, – наша сестричка такая опасливая. Спросила доктора, можно ли заразиться сифилисом, если сесть в уборной на толчок. А доктор ей говорит: «Конечно можно. Только это очень неудобный способ».

Громкое и дикое ржание, которого я не узнаю. Видно, положили туда нового. От других не слышно ничего, кроме стонов отчаяния: все они слышали этот анекдот уже раз десять.

– Смени пластинку, – требует желчный Улкус.

Улкус – майор. Он еще не привык находиться в обществе простых солдат, не упускающих случая подтрунить над ним по поводу его совсем не фронтовой болезни.

– Ладно, слушайте дальше, – говорит Шошо примирительно. – Заходит батальонный каптенармус в бордель...

– Да хватит тебе, заткнись хоть раз, – хрипит на него Узи.

– Спать охота, – подхватывает нескладный хор.

– Малохольные, – не уступает Шошо. – Можно подумать, что вы тут что-то делали целый день. Только срать ходили.

– А ну потише, детки! – вмешивается сестра.

– Сестричка, утку! – зовет майор.

– Жопа! – не упускает случая отомстить Шошо. – А раньше не мог? Чем ты был занят?

– Разрабатывал новый прием отдания чести в положении сидя на толчке, – шипит Узи.

– Пошел ты... – ворчит майор, справляя нужду.

То тут, то там скрип кровати, когда ворочается раненый, пытаюсь найти удобное положение для своих ран.

Тишина и покой окутывают палату.

* * *

Десять вечера.

Рахель входит в нашу палату. Она всегда оставляет ее под конец, чтобы осталось больше времени для нас, двух самых «тяжелых». Полузакрытыми глазами я слежу за ее движениями у другой койки. Она вкладывает термометр в рот раненому и держит его руку, проверяя пульс. Он лежит навзничь и дышит со скрипом, как давно не смазанная дверь. Его принесли сюда полчаса назад, а еще два дня до этого он лежал в палате напротив. Его ранило в грудь.

Рахель опускает руку больного и что-то записывает в табличку у кровати.

Ее лицо с легким румянцем лишено всякого выражения. Она делает усилие, чтобы не выразить никаких чувств. Бесстрастное лицо человека, знающего, что тот другой человек обречен, и думающего: «Я не позволю этому взять над собой власть». Уловка подавить в себе чувства, которая ей почти никогда не удается.

– Пить, – хрипит раненный.

Рахель подходит к изголовью и кладет тонкую руку на его горящий лоб.

– Подождите минутку, – говорит она.

Врунья, подумал я про себя. Разве доктор не запретил тебе давать ему хоть каплю влаги?

Теперь моя очередь. Я улыбаюсь, и Рахель отвечает мне улыбкой. У нас маленький секрет, как у малышей в детском садике. Я странно убежден, что только Рахель поможет мне

уснуть, что без нее я не сомкну глаз. Детская уверенность. Одна из неотвязных мыслей, безо всякой причины преследующих раненого. Дважды за прошлую неделю, когда ночью дежурили другие сестры, я звал Рахель так долго, что она вставала, подходила и отчитывала меня. И всё же для нее это что-то значило. Почти все раненые относятся к сестрам как к механическим элементам системы, и если беспокойный больной видит в них людей, они чувствуют себя польщенными.

– Ну, что там у меня? – спрашиваю я ее.

– Тише! Вы же знаете, что я не имею права вам ее показывать.

Она повторяет эти слова каждый вечер, перед тем, как показать мне карту. Это часть нашей игры. Если бы она показала мне карту, не отказавшись сперва, я был бы разочарован. Как был бы серийный убийца женщин, если бы новая жертва отдалась ему без сопротивления.

– Хотите снотворное?

Это риторический вопрос. Я машинально глотаю таблетку, а Рахель отодвигает одеяло и выискивает на моей левой ноге место для двух уколов. На ней уже столько уколотых точек, что свежего места не найти. С первого дня мне делают здесь по два укола каждые три часа. Восемь раз в сутки. Один – пенициллина и один – обезболивающего, итого шестнадцать.

– Оууууу! – стону я, хотя уколов Рахель почти не чувствую.

– Вы боитесь иголок?

– Ужасно, – признаюсь я. – Прямо как зубных врачей.

Рахель хохочет. Она поднимает мою голову одной рукой и поправляет подушку другой. Расправляет покрывало, треплет меня по волосам и любит, как художник, на законченную картину.

– А теперь, мальчик, баю-бай!

– Сейчас засну, – обещаю я.

Она выключает верхний свет и включает маленькую настольную лампу. В палате для тяжелых свет полностью никогда не выключают: ночью сестра должна регулярно проверять состояние больных.

– Спокойной ночи, – говорит Рахель.

– Спокойной ночи! – отвечаю я.

– П-и-ить, – мычит в полузабытьи мой сосед по палате.

* * *

Я знаю, что не смогу заснуть.

Весь день я боялся этой минуты – долгая ночь для меня пытка. Днем что-то постоянно происходит: можно разговаривать с сестрами и врачами, можно прислушиваться к другим голосам, читать книгу или листать журнал.

Ночью минуты тянутся бесконечно, боль удваивается. Моя правая нога, в которую ввели трубку для внутривенного питания, ноет и зудит. Перевернуться на живот или на бок я не могу, а спину жжет даже после того, как Рахель протерла ее спиртом.

Есть вещи, о которых я не могу думать. Днем мне удастся отбросить эти мысли, но по ночам они настигают меня, хватают и не отпускают. Воспоминания, черт бы их побрал. Почему так трудно забыть?

Это восьмая ночь после ранения. Восьмую ночь я не могу уснуть. И каждую ночь одни и те же воспоминания преследуют меня. Они яснее и отчетливей, чем сама реальность. Может быть, это жар так раскрашивает их, что мельчайшая черточка приобретает огромный смысл.

Днем воспоминания большей частью приятные: улыбки друзей, пейзажи, бешено проносящиеся мимо джипа, батальонная суматоха, приятные или забавные происшествия. Ночью другие воспоминания гонят их прочь. Иногда хочется представить, что я сплю и всё это кошмарный сон. Но я знаю, что не сплю, и то, что я вижу – не сон.

Я смотрю на тусклый свет. Мои глаза прикованы к огоньку, который то сжимается и отступает, то приближается и опять уплывает. И мерцает, мерцает без конца...

* * *

...огонек мерцает, мерцает, мерцает без конца.

Я в лагере «Иона» в Тель-Авиве. Снаружи воет ветер, последний ветер февраля, возглашающий конец зимы. В палатке приятно тепло. Только легкий сквозняк играет с керосиновой лампой, висящей на шесте. Я лежу на койке в грязной форме и в тысячный раз перечитываю «На Западном фронте без перемен» Ремарка.

Я не читаю, а вожу взглядом по строкам, совершенно не воспринимая содержания. Меня одолела усталость, и мне совсем ничего не хочется. Это не просто физическое утомление новобранца, всю жизнь работавшего головой и вдруг вынужденного заняться нелегким физическим трудом. Скорее это ощущение полной беспомощности, первый удар. Три недели моя душа задыхалась в тисках военной муштры, оказавшись посреди грубого стада. Собственная воля отменяется. Любой болван, которого назначат командиром отделения, может гонять тебя, как взбредет в его идиотскую башку.

Командиры отделения... С облегчением вспоминаю, что наших командиров здесь нет. Когда разразился бой у конторы «Керен Каемет»¹ в Бейт Дагане, их срочно вызвали в резерв.

В палатку ворвался ветер и бешено раскачал керосиновую лампу. Даже не повернув головы, я знаю, что вернулся Санчо.

– Что? Уже двенадцать? Я закрываю книгу и зеваю. Кажется, я и не заметил, как пролетело время.

– Еще одиннадцать, – отвечает Санчо странным голосом.

Смысл его слов тоже странный. Его отпустили до полуночи. С чего это вдруг солдат, если он не совсем шизанулся, не догуляет часа, когда там, за лагерем, полно кафе и девчонок, а здесь одна скука? Он и меня подвел. Наш ротный терпеть не мог всяких «ответственных по культуре» и знал, что в гражданской жизни я был «из интеллектуалов». Поэтому он назначил меня культургом роты. В этом качестве я мог иногда устроить для своих товарищей отлучку из лагеря под самыми несусветными предложениями. Официально Санчо отправился в город, чтобы принести аккордеон для проведения вечера, и если он вернулся на час раньше, стряслось что-то страшное.

– Что, живот схватило? – осторожно спросил я.

– Yob tvoyu mat, – ответил Санчо и свалился на койку во всей одежде.

– Проиграл! – твякнул Цуцик, сев на кровати.

За обедом Санчо заключил с ним пари, что если его вечером отпустят на несколько часов, он обязательно натянет девчонку. Для этого пари Цуцик и Нахше, которые тоже жили с нами в палатке, уговорили меня устроить Санчо увольнение.

Санчо и я – странная пара. Он зовет меня «Дон Кихотом» и говорит, что я из тех помешанных, которые встретят раннюю смерть в бою или на виселице. А я зову его «Санчо Панса» за его безнадежный материализм. Санчо, щуплый, низенький и светловолосый. У него есть мастерская точной механики. Всё время повторяет, что не станет умирать за эту, туда ее, родину, чтобы какие-то сачки там кайфовали. Если бы он на самом деле был трусом, то вполне нашел бы способ сачкануть от боевых операций. Так что кличка, которой я его наградил, подходит ему не вполне.

– Ну, рассказывай, что там случилось, – потребовал Цуцик.

– Отвали, – недвусмысленно отшил его Санчо.

¹ Еврейский национальный фонд («Керен Каемет ле-Израэль») был создан для покупки земель в Палестине (впоследствии Израиль) под еврейские поселения. - «Википедия»

– Ты чего это? – не на шутку взъярился Цуцик. Это заметно по его детскому веснушчатому лицу. – Было у нас пари или нет? Если проиграл, так и скажи.

– Он прав, – решаю я, используя свой авторитет неформального лидера отделения. – Пари – есть пари.

Поведение Санчо возбудило во мне любопытство. Мне хотелось знать, что так вывело из себя моего хладнокровного друга.

Вдруг Санчо разразился хохотом. Мне этот смех не понравился. Я ощутил в нем что-то грязное и злое.

– Хочешь знать правду? Наш Дон Кихот хочет знать правду о чистой и беззаветной любви? Слушай и радуйся!

Между тем подошли другие солдаты нашего отделения из соседней палатки. Высоченный Джокер в ночной рубашке, которая доходила ему до щиколоток, столкнул меня с кровати и взялся за дело сам. Атмосфера накалилась. О бое, который шел в эту минуту у дома «Керен Каемет», кажется, забыли. Как свидетели пари, мы имели право на свою долю романтического приключения Санчо. Если у человека нет возможности нагрешить самому, он, по крайней мере, имеет полное право вкусить от грехов ближнего.

– Ладно, слушайте, – начал Санчо.

Говорил он монотонно, будто зачитывал вводную на идиотских радио-учениях: «Командиру поста два – от командира поста три – противник наступает с юга – у меня трое убитых и двое раненых – пришлите боеприпасы и опытного медика».

– Отсюда я пошел прямо к Амосу, – начал рассказ Санчо. – Вы знаете Амоса?

Я его знал. Один из тех, кто избежали призыва, поступив в какой-то институт, где бывают от силы два раза в год.

– Думал, что найду там девчонок.

Около него всегда крутится пара фигуристых девах, видящих свой долг перед родиной в том, чтобы раздвинуть ноги, когда несчастный солдатик придет к ним в поисках любви. Не всегда они такие уж фигуристые, но это не важно.

– Без разницы, – авторитетно вставил Цуцик.

Ему семнадцать. Он из хорошей семьи, и родители из кожи лезли вон, чтобы дать ему правильное воспитание. Мы догадываемся, что он еще девственник, и поэтому при всякой возможности хочет показать, какой он тертый и опытный.

– Но невезуха, – продолжает Санчо. – Ни одной бабы. Решил пойти в кино. Знаю, что там всегда можно приколоться.

– Еще как! – выпаливает Цуцик с энтузиазмом. – Если с тобой рядом девушка, и ты не начнешь к ней подкатываться, как только выключат свет, она обидится.

Знаток...

– Мы пошли в кино «Кессем». Я стал в очередь за билетами, Амос отвалил за сигаретами. Вдруг вижу, одна женщина смотрит на меня.

– Женщина? – переспросил Цуцик с сомнением.

– На вид двадцать два или двадцать пять. Мордашка полненькая, но фигура! Прямо кричит, сколько штучек она знает.

Санчо на минуту замолк, вероятно, задумавшись над этой философской фразой.

– Ну, и что потом? – спрашивает Цуцик, сгорая от нетерпения.

– А что потом? Она смотрит на меня, я – на нее. Подходит и спрашивает, не смогу ли я купить ей билеты?

– Сколько? – спрашиваю я.

– Один.

– Конечно, могу.

Беру билеты, заходим: Амос – слева. Я – справа. Она – посередке. Говорит, что зовут ее Шошана. Я сразу стал звать ее Шоша. Она мне улыбается. Рассказываю ей, что только утром я вернулся из Негева, и возвращаюсь туда завтра.

– Да? – спрашивает она и кладет руку мне на спину, будто хочет защитить. – Я гляжу ей в глаза, а они краше увольнительной на целую неделю. Тогда погасили свет в зале.

– О чем была картина? – наивно спросил Джокер.

– Картина? – Санчо поворачивается на вопрос. – Понятия не имею. Я наклонился чуть влево, а она не отодвинулась. Положил ей руку на колено, а она накрыла ее своим жакетом. Гуляю по ее бедру, исследую трусики, а она охотно ведет меня глубже в разведку. Тут я готов был благословить эту поганую войну.

– Ну, а что потом? – не терпится Цуцику.

Его глаза горят, и весь он – сплошной анекдот. Я переворачиваю страницу книги, будто их не слушаю. Но все мы с волнением ждем главного момента.

– Вот, кино закончилось, – тяжело вздыхает Санчо. – Выходим, а она спрашивает, не зайдём ли мы к ней выпить кофе. Амос мне подмигивает и говорит:

– А как же, зайдём.

– Значит, ведет она нас по Бен-Иегуда в свою чистенькую квартирку. Мы с Амосом рассаживаемся в мягких креслах, а она идет на кухню кофе варить. Потом позвала меня подойти ей помочь. Амос мне подмигнул и шепнул, чтобы я всю работу сам не сделал, и ему что-то досталось. Я вошел в кухню и закрыл за собой дверь.

Ну, что вам сказать? Она переоделась в атласный красный халат. В кухоньке буквально повернуться негде, и я при каждом движении ее касаюсь. Вдруг вижу на ней обручальное кольцо.

– Ты замужем? – спрашиваю.

– Да, – говорит она, – а какая разница? Мужа нет в городе. Смылся куда-то, и вообще он ко мне невнимательный.

Улыбается от уха до уха, все зубы на виду, и водит между ними языком. Я себе говорю: «Да ну его на фиг. Какое мне дело до этого буржуя. Таскается, идиот, то к одной, то к другой, а меня скоро свалят в бою, как осла».

Обнимаю ее, целую, а она прижимается, и язык мне засовывает в рот чуть не до горла. Дышать нечем. Она напряглась у меня в руках. Халат распахнулся, и она передо мной вся голая. Дух вышибло, ни о чем не помню. Ты когда-то делал это стоя?

Минуту в палатке слышно только тихое постанывание Цуцика.

– Потом мы варим кофе, я несу поднос в комнату, пьем из чашечек. Я сказал Амосу, чтобы он не забыл зайти на кухню, помочь ей помыть посуду. Треплюсь о всяких случаях, которые у меня вроде были в Негеве. Она всё время ахает:

– Боже мой! Неужели, правда? Поверить невозможно!

И говорит, что всё это скоро кончится. Я спрашиваю, почему она так уверена? Она мне отвечает, что муж рассказал. А ее муж такие вещи знает. Он офицер в полевых частях ХИШ, зовут его Рашке.

– Сперва это имя мне ни о чем не говорит. Потом вспоминаю, что Рашке – тот самый командир роты, который позавчера вытаскивал раненых из горящего БТРа в Иерусалимской долине и получил пулю в лицо. У меня всё нутро перевернулось, аж рвет. Поднимаюсь и выхожу из дому. Еле на ногах стою, качаюсь как пьяный. Как она удивилась! До сих пор ее лицо перед глазами. Амос ее поглаживает... А ну, валите на свои вонючие кровати. Спать хочу.

– Что с тобой? – спросил Цуцик с завистью. – Какая тебе разница? А Рашке всё равно не знал, что ты...

Я прикручиваю фитиль лампы. В палатке холодно. Я думаю о Рашке, как он полз к горящему БТРу под вражеским огнем. Крики раненых. Вдруг его нос разносит всмятку, одни

осколки от челюстей, и всё лицо – кровь и мясо. А солярка течет из танка на дорогу огненным ручьем...

Радио

– Воды, воды, воды-ы-ы!

Мой сосед по палате очнулся. Сперва он стонал, а теперь издает даже не крик, а вой раненого зверя. И тяжело хрипит между вскриками. Похоже на звук тупой и ржавой пилы. Прибежала Рахель с журналом в руке, который она читала. С обложки улыбается потное лицо солдата. Ружье с примкнутым штыком должно придать ему романтический ореол.

– Воды! Принеси мне воды-ы-ы! – рычит раненый.

Своим криком он разбудит всех в большой палате, и Рахель пытается его успокоить, но не может.

– Дай ему попить, – хочу я сказать ей, – и пусть не мучится. Он всё равно не протянет до утра. Но я молчу: я еще не спятил до такой степени.

Вдруг вспомнилась прочитанная фраза. Слова какого-то генерала: «Солдат должен погибнуть с достоинством». Генералу, писавшему ее за своим столом, представлялось, что это не так уж сложно. Пуля сражает солдата в грудь. Он возносит руки с возгласом: «Я счастлив умереть за Родину!» и театрально опускается наземь. Но если пуля попадет не в грудь, а в лицо, его достойная смерть не будет столь живописна. В Ибдисе, в окопе, мы видели двоих. Они сидели рука об руку, но без голов. Удалось ли им «погибнуть с достоинством»? Удастся ли это моему соседу, тело которого корчит от боли, и которому не позволяют выпить ни глотка?

Рахель вздыхает и присаживается ко мне на койку. Иногда кажется, что сестры равнодушны к окружающим их страданиям. Это не так. К такому несчастью нельзя привыкнуть. И к виду смерти на поле боя тоже. Но человек обретает привычку владеть своим лицом и подавлять чувства, иначе сойдешь с ума.

– Почему он все время хрипит, как старуха?

Я не злюсь. Я тоже постанываю и побряхтываю, но хочу, чтобы сестра поговорила со мной.

– Тебе не стыдно? Он в очень тяжелом состоянии.

– А что с ним?

Пуля попала ему в грудь. Два отверстия: входное спереди и выходное – на спине. Ему назначили лечение, как и всем, у кого задеты легкие. Но сегодня вечером обратили внимание на поступление и расход жидкости в его организме и увидели, что он слишком много пьет: явный признак поражения кишечника. Его еще раз тщательно осмотрели и обнаружили, что хотя пуля действительно попала в грудь и вышла через спину, сумела по пути серьезно повредить его внутренние органы.

На утро назначили еще одну отчаянную операцию. Рахель не сказала, «если он доживет до утра», но это было ясно написано на ее лице. Завтра утром... До утра еще десять часов: для того, кто борется за свою жизнь, это вечность...

Я опять один. Рахель вышла. Звук пилы наполняет комнату. Он всё громче. Мой череп скоро лопнет. Если он не перестанет, я свихнусь. Пытаюсь зажать уши. Не помогает. Хочу сосредоточиться на других звуках. Ведь они вокруг всегда: нужно только уметь их услышать.

Кто мне это объяснил? Первая ночь учений. Двенадцать дрожащих городских мальчиков среди темного поля. Вокруг тишина: глухая тишина, ни звука.

– А ты слушай, – говорит взводный Муса. – Природа никогда не молчит. В ней тысячи звуков. Нужно только прислушаться. Теперь ты слышишь? Что-то посвистывает. Это ветер в тех деревьях. Слушай: одна, две, три собаки лают на северо-востоке. Там где-то дом. А далеко, далеко едет машина, рычит мотор. Открой свои грязные уши этим звукам: они могут спасти тебе жизнь. Они скроют звук твоих шагов от врага и выдадут его. Слушай цикад...

Цикады. Они звенели. Их звон не прекращался ни на миг всю ночь того боя. Люди гибли, а цикады пели. Раненых оставили в поле, а цикады пели им колыбельную, пока те не

засыпали и не умирали. Не хочу об этом думать. Будьте вы прокляты, цикады! Замолчите! А здесь где-то далеко играет радио. Может быть, в палатках у медсестер? Нет, у них нет радио. В столовой соседней казармы? Танго. Оно должно напомнить мне о чем-то приятном. Но о чем? Танцор я был никудышный – нет у меня способностей. Поэтому я задираю нос и делаю вид, будто танцы меня не интересуют. Что такое танцы, в конце концов? Допускаемая обществом форма пообжиматься на людях? Но втайне я, конечно, завидую танцорам...

Танго смолкло. Чей-то смех. Радио заиграло арабскую мелодию. Там, наверно, собрались иммигранты из Марокко. Арабская мелодия... Араб, араб... Чье это лицо всплывает из глубин памяти? Перебежчик из Судана, который объявился в Негбе с автоматом в руках? Приятное лицо. Он сидел рядом со мной в окопе под плотным минометным огнем. Мы курили вместе. Он клял египтян и рассказывал о своем доме. Нет, не он. Какое-то другое лицо.

Может быть суданский майор, которого мы захватили в Бейт-Дарасе? Старик – уже за пятьдесят. Прошел весь путь от Хартума, чтобы принять участие в Священной Войне. Какое странное словосочетание: Священная Война. Отважный человек. Мы взяли его раненого. Но он не позволял обработать свои раны, пока не окажут помощь лежавшему рядом с ним рядовому из его подразделения, ранение которого было более тяжелым.

Нет, и не майор. Кто-то другой. Раньше. Первый, которого я увидел. В Латруне? Нет, до Латруна. Нет, еще до Маккаби. Нахшон? Да, именно тот. Арабское лицо...

Арабское лицо.

Рано утром рота заняла позицию, откуда просматривалась дорога на Латрун, и стала ждать. Всем было ясно, что нет смысла кого-то здесь ждать. Но там, «наверху», большого начальника осенило, что тут будут двигаться арабы, хотя самый безмозглый должен был знать, что этот отрезок дороги в наших руках, и арабы сюда не сунутся. А рота лежит весь день с утра до вечера на этой дурацкой позиции, поджидая дурака-араба. Но арабы не дураки. Иногда проезжала какая-то машина англичан. Наблюдательные посты с радистами слали сообщение, что видят на дороге машину. Мы пригибали головы и брали оружие наизготовку. Пара напряженных минут, показывалась какая-то машина, но в последний момент поступала команда отступить и идти в укрытие: наблюдатели разглядели в машине английские лица.

Все солдаты лежат по одиночке, в нескольких метрах друг от друга. Каждый отыскал себе большой камень, за которым прячется: чего-чего, а глыб здесь хватает. Солнце палит с высоты. Многие поснимали гимнастерки и загорают, полуголые. Пить, конечно, запрещено. Вода – это сокровище. Остаются только сны – призрачные, короткие, бессмысленные.

Далеко на горизонте арабы трудятся на своих полях. Как крошечные шахматные фигурки, передвигаемые невидимой рукой. Я лежу за пулеметом и прицеливаюсь. Стрелять, конечно, запрещено. Нужно, чтобы думали, будто никто не знает о нашей засаде. Расстояние больше двух километров, и пуля никого не достанет. Или меньше двух? Всё равно никакого толка от стрельбы не будет. Но меры безопасности приняты. Теперь араб прямо в прицеле. Взят на мушку. Нет, высоко. Чуть пониже. Вот теперь в точку. Можно мгновенно его уложить. Одна пуля – и конец. Идиотская мысль. Вот что скука делает с человеком – дурь одолевает.

Я лежу на брюхе, а солнце припекает потную спину. Перевернуться я не могу, потому что ниже спины у меня вздулся здоровенный чир.

Стесняться нечего: по всем статьям – фронтовая рана. Оттого что нам две недели подряд по три раза в день дают жрать одни сардины. Три приема пищи: на завтрак кислая капуста с сардинами, на обед сардины с кислой капустой, а на ужин опять кислая капуста и к ней – сардины. Всем не хватает витаминов. Некоторых мучит изжога – от нее ночью в карауле внутренности жгут, как в аду. Диарея – еще одна военная болезнь. А мой чир – верх фронтовой романтики. Если я завтра не попаду к фельдшеру, болячки расплзутся по всему телу.

За камнем рядом лежит Фарук. Он родился в Дамаске. У него одутловатое арабское лицо. Похож на сводника. Чем он, кстати, и зарабатывал себе на жизнь в Дамаске, но предпочитает об этом не распространяться. Зато о своих прочих успехах готов говорить без

умолку. Как ему во время Второй мировой войны удалось всучить английским офицерам за сумасшедшую цену какое-то дерьмо. Он без конца повторяет свои рассказы, будто доказывая, что он не хуже своих белых товарищей по батальону. Я слушаю вполуха. В любом случае, ничего другого мне не остается. Здесь я узнаю самые невероятные истории от людей, с которыми в обычной жизни никогда бы не встретился. Мы с Фаруком живем на разных планетах, но здесь, за камнями, все различия стираются.

Тянется час за часом. Я вспоминаю о фотографиях в моем кармане. Достаяю и рассматриваю их. Девушки, которых я нацелкал в прошлом увольнении. Просто легкие знакомства, но как очаровательны они здесь, и я влюблен во всех сразу. На теплой земле мною вдруг овладевает желание.

– Дай посмотреть, – просит Фарук.

Он разглядывает снимки, посвистывая и складывая губы трубочкой.

– Ух, какое у нее шасси!

Это должно быть понято как комплимент.

Вскоре наша позиция превращается в фото-базар.

Снимки переходят из рук в руки.

– Классная, – постанывает Джамус.

– Эта? – презрительно отзывается Кебаб. – Страхолюдина. Руку не стал бы об нее марать.

– А если не руку? – не сдается Джамус.

– Не лег бы с ней и за тысячу фунтов, – деланно зевает Кебаб.

– Тихо вы! – рывкает комроты. – Ваши саксаульные подвиги на хрен никому не нужны.

Война, как бутерброд: тоненький ломтик опасности между двумя толстыми кусками скуки.

* * *

– Радиограмма!

Радист шепчет на ухо командиру, а тот объявляет всем, что наблюдатели заметили движение на дороге.

Наконец-то. Руки заряжают, головы пригибаются в укрытии, стволы нацелены на изгиб дороги, где должен появиться противник. Тридцать ружей наизготовку. Руки дрожат.

На дороге появляется человек.

Он идет к Латруну, будто и не подозревая, что здесь – поле боя. Он нас не замечает. Он понятия не имеет, что на него нацелены тридцать винтовок и что три пары биноклей следят за ним с трех направлений.

Один человек идет по дороге.

– Дистанция двести метров – на дороге противник – одиночными – огонь!

Тридцать ружей выстреливают как одно. Человек на миг останавливается и пускается бежать. Ну, и черт! Ни одна пуля не попала!

Но участь его решена. Ружья палят, как безумные. Пули, пули, пули. И еще пули. Закашлял пулемет. Расстреляно не меньше ста пятидесяти патронов.

Он лежит на земле.

* * *

Подъезжает грузовик, чтобы отвезти раненого в штаб. Он лежит на дороге в кругу любопытных. Раненый корчится от боли, воем воет, вскрикивает. В правую ногу попало несколько пулеметных пуль. Фельдшер пытается остановить кровь. Ногу он, видимо, потерял. Ее, скорее всего, ампутуют.

– Чего с ним возиться? Это араб! – кричит какой-то коротышка.
– Раненый – это раненый, – строго возражает фельдшер. – Во всём мире раненым военнопленным оказывают медицинскую помощь.
– Не будь ребенком. Кому какое дело, если он сдохнет?
– Что, этот вонючий араб – тоже человек?
Фельдшер не обращает внимания и быстро перевязывает рану.
– Ему нужна только еще одна пуля, – заявляет Кебаб и щелкает предохранителем на винтовке. Кебаб высокий и смуглый, всегда хрипит, и глаза его вечно бегают. Никто точно не знает, кем он был на гражданке.
– Хватит, – вставил Санчо. – Мы не дикари.
– Ты что нам хочешь доказать, – возразил коротышка. – А что арабы делали в Ясуре? А на литейном заводе в Хайоцеке? Они что, не головорезы? Мы тоже будем резать им головы. И на том конец!
– Заткнись! – издали рыкнул на него командир. – Пленных не убивают, потому что нужно получить от них точную информацию. Понял?
Это было ясно всем.
Фельдшер закончил свою работу. Пленного, всего в крови, погрузили в джип. Фельдшер сел рядом. Кто-то помогал ему, поддерживая раненого.
– Эй ты, слушай! – вспомнил обо мне командир. – Отправляйся с ними лечить свой красный орден на сраке.
Все гогочут.
– Завтра устрою себе чир на яйцах, – цедит сквозь зубы Кебаб.

* * *

Дорога жуткая. Грузовик кидает во все стороны, раненый мычит и стонет. Мы бы ему помогли, но что мы можем? «Майя, майя!» – стонет араб. Но воды у нас нет. Придерживаем его, чтобы меньше трясло. Наши руки в его крови.
– Я умру, – шепчет он.
– Не умрешь, – старается утешить его фельдшер, употребляя несколько арабских слов, которым он научился. – Подожди. Скоро будет доктор.
– Я умру, я умру! – не умолкает раненый.

Странные мысли пляшут в моей голове. Мы должны говорить ему, что всё будет в порядке, что скоро им займется врач, и его отправят в госпиталь. Но я не могу раскрыть рта. Я крепко держу его, ощущая его судороги и его боль. Какая-то тошнотворная бурая жидкость течет по моим рукам. А я думал, что кровь всегда красная.

* * *

Заносим араба в палатку для раненых. Доктор осматривает его и снова бинтует. Этого доктора недолюбливают: он смотрит на всех больных или раненых как на симулянтов.

Я спускаю штаны и показываю ему задницу. Фурункул багровый и вспухший. Сестричка пытается его обработать: она молоденькая и смущается. После двух недель на фронте мое тело не блещет чистотой, но мне всё равно. Смотрю на раненого. К нему подходит офицер из разведки.

– Что там у него? – спрашивает он доктора.
Тот пожимает плечами, будто вопрос не к нему.
– Откуда ты? – спрашивает он раненого по-арабски.
Тот не отвечает и что-то скулит.
– Мин вин инта? – Откуда ты? – кричит офицер.

Теперь раненый отвечает нетвердым голосом. Он феллах из Масмийи. У него жена и двое детей. Он шел в Лод, чтобы немного заработать. Он не знает, где арабские боевики. Он вообще ничего не знает о войне. Он простой феллах, ему нужно кормить жену и детей.

Офицер недоволен. Он спрашивает:

– Сколько иракских солдат в Вади Сартар?

– Би-хайат Аллах ма бареф! – Богом клянусь, ничего не знаю! – араб издает жалобный вой.

– Кадеш ираки фи и Сартар? – Сколько иракцев в Вади Сартар? – кричит офицер, колотя его по груди.

Раненый стонет и ничего не говорит.

– Не давайте ему есть и пить, – распоряжается офицер и собирается уйти.

Доктор пожимает плечами. Всё это его не касается.

– Но... Он же ранен? – вдруг вскрикивает тонким голосом сестричка.

Ее лицо краснеет.

Офицер взрывается, как укушенный тарантулом:

– Не суй свой нос! – визжит он. – Через неделю он пойдет в атаку на Вади Сарар. Ты хочешь, чтобы погибали наши солдаты?

– Нет, – соглашается потрясенная сестричка.

– Тогда заткнись и занимайся своим делом, – говорит офицер и уходит.

На следующее утро я придумываю, что у меня заражение крови и возвращаюсь на медпункт в палатке. Сестрички там нет. Ладно сложенный, но толстоватый фельдшер снимает мой пластырь, смазывает фурункул какой-то цветной мазью, накладывает свежий пластырь на больное место.

Я хочу спросить его о раненом, но не решаюсь и жду, пока он закончит свою работу. Потом я предлагаю ему сигарету и спрашиваю как бы невзначай.

– А, этот араб? – безразлично переспрашивает он меня. – Его закопали.

– Закопали?

– Конечно, а что еще с ним делать? Может, в спирту хранить?

Хочу спросить, умер ли он от ран или его прикончили. Но не спрашиваю, боюсь ответа.

* * *

Человек умер.

Если бы он остался в Масмийе, сейчас он был бы жив. У его жены был бы муж, а у детей – отец. Хочу представить себе, как он уходил из дому. Сказал жене, что собрался в Лод подработать. Дети побежали за ним, мальчик и девочка. Он отправил их обратно к матери с улыбкой, но строгим голосом.

– Когда папа вернется? – спросила девочка.

– Через пару дней, – ответила мать. – Он принесет деньги, и у нас будет еда.

Он никому не причинил вреда. Почему же он должен был умереть?

Это война. Значит, мы должны убивать друг друга. Так устроен мир. Но вот этот человек, именно он, разве он хотел войны? Не имеет значения. Из тех, кто гибнет на войне, лишь очень немногие желали ее, а желавшие очень редко оказываются в числе жертв.

Почему же он должен был умереть? Я знаю, что есть очень простой ответ: он был врагом.

Странное слово. Враг. Оно может означать, что угодно, и означает, что угодно. А, по сути, ничего не означает. Произнесите мысленно слово «враг», и ваше сердце наполнится ненавистью. Вас охватит желание убивать и разрушать. Но взглянув на врагов своими глазами, вы увидите в них людей, подобных вам. И если вы с ними познакомитесь, вы не сможете их

ненавидеть. Что произошло бы, если бы все мы, говорящие на арабском и говорящие на иврите, были знакомы друг с другом? Стали бы мы тогда друг друга ненавидеть и друг друга убивать?

Дурацкая мысль. Он умер, и на том конец.

Да. Конечно. Финита. Но почему этот несчастный должен был умереть? Почему его вдова и дети осиротели? Какое отношение имеет к нему наша борьба? И почему он – враг?

* * *

Сегодня ночью мы в карауле – четверо у южных ворот. Вообще-то там должны стоять только двое, а двое других – патрулировать забор. Ближе Рамле. И до Сакрира рукой подать. Но мы плюем на свои обязанности. После Нахшона ничего здесь не случилось. А почему сегодня должно быть иначе? Феддаины вполне счастливы уже тем, что мы на них не нападаем, и носа из своих деревень не кажут.

Сидим под старой британской водонапорной башней. Санчо притырил в столовой несколько коробок австралийского аварийного пайка, и мы разжевываем камешки карамели и сухофрукты. Джокер притащил чекушку коньяка, чтобы согреться.

– Дерьмо собачье, – замечает Санчо между глотками. – Выставили нас тут, как телефонные столбы, а лагерь большой – любой вонючий араб может перемахнуть через забор в любом месте.

– Дерьмо собачье, – соглашается Джокер. – Пойду, прилягу.

– И мы тоже, – решает Санчо. – Одного часового хватит. Будем меняться через полчаса. Первый – я, потом Джокер, третий – Узи, а четвертым будет Цуцик.

Джокер будит меня ровно через час. Сижу, завернувшись в шерстяное одеяло, и всё же мерзну. Вдали мерцают огоньки кибуца. Звенят цикады. Хочу доесть остаток аварийного пайка, но в рот не лезет, никакого вкуса. Пробую о чем-то думать, но мысли разбегаются.

Странно. Пять месяцев назад я мог с головой уйти в серьезную книгу, а сейчас и дешевого романчика не осилю. Даже девчонки в голову не идут. Они чаще возникают как предмет сальных анекдотов, чем желания.

Что бы Фрейд об этом сказал? Понятия не имею. Если бы Фрейд был рядовым у нас в пехоте и стоял в карауле каждую ночь по четыре часа, не осталось бы у него ни времени, ни сил беспокоиться о психопатологии обыденной (или нашей обычной ночной) жизни.

Стрелки часов ползут убийственно медленно. Осталось еще десять минут, еще восемь, пять, три. Теперь могу будить Цуцика. Ему нужно три минуты, чтобы проснуться. Лежит, свернувшись, как еж. Даю пинок по бугру, который должен быть его задницей.

– Yob tvoyu mat, сучий хвост, – ворчит он сквозь сон.

– Yob tvoyu сам! Вставай! Твоя очередь!

– Который час?

– Без трех минут половина.

– Зачем ты разбудил меня, дебил?

Он ворочает головой и моргает. Я ложусь, натягиваю одеяло на голову и засыпаю.

Мне приснилась школа. Мы в шестом или седьмом классе, и учитель объясняет нам притчу из талмуда о быке или о корове. Никто его не слушает, скука смертная. У рыжего мальчишки рядом со мной есть пуля от пистолета, и он тайком ее разглядывает. Беспорядки охватили страну. Наши старшие братья ходят в бригадмилльцах, а мы подыхаем со скуки в школе. Вдруг слышу свое имя.

– Что сказал об этом Рабби Гамлиель? – спрашивает учитель.

Понятия не имею, о чем он тут говорил. Весь класс уставился на меня и злорадно ухмыляется. Пуля со стуком падет на пол.

– Что это? – спрашивает учитель.

– Патрон от маузера, калибр 11.56, – запинаясь, отвечаю я.

– Нет, калибр 11.54, – кричит рыжий.

– Тихо! – взревел учитель во всю глотку. – Стыд вам. Марш к директору!

Кто-то толкает меня в бок:

– Рабби Гамлиель, он сказал...

Но передо мной возник наш взводный Муса. Ищу свою винтовку, но ее нет. Другие винтовки тоже исчезли.

– Буди своих баранов, – хохочет Муса. – Четверо солдат уснули на посту. Четыре арабских батальона могли строем подойти к вам и всех нас перерезать. И всё из-за вас, ублюдки.

Я бужу трех остальных. Мы встаем и дрожим в первом утреннем свете.

– Идите и доложите командиру, что вы спали на посту и что ваши винтовки похитили.

Командиром у нас майор, бывший офицер еврейской бригады. Идем к его казарме и заглядываем в окошко. Он лежит на кровати, полуоткрыв рот. Цветные рукава пижамы совершенно лишили его армейского облика. Когда мы увидели майора в таком виде, нас разобрала злость. Почему он может спать, а мы – нет? Чем он лучше? Что он офицер, а мы солдаты – просто случай.

Клянц Цуцика за то, что он не встал, когда я разбудил его, а он бросается на меня за то, что я разбудил его слишком рано и не подождал, пока он встанет. Мы долго грыземся всё громче и громче, пока не открывается дверь и не показывается в ней заспанное лицо майора. Он орет на нас, и лицо его багровеет от гнева:

– Валите отсюда, пердуны. Что вам здесь надо? Чего спать не даете?

Санчо с подобострастной физиономией объясняет:

– Муса, комвзвода, послал нас, вас разбудить.

– Не знаю я никакого Мусы. Пошел он к черту!

Его голос надламывается.

– Марш отсюда, и чтоб я сегодня больше не видел ваших грязных рож!

Мы дернули, а когда добежали до угла казармы, повалились со смеху.

* * *

В качестве наказания Муса определил нам двенадцать часов караула. Цуцик и Джокер стали у южных ворот, напротив кибуца, а Санчо и я – у северных, напротив Сакрира. Нам скучно, разжевываем камешки сухофруктов, которые завалились у меня в кармане брюк.

Около полуночи к воротам приблизились две фигуры. Мы не поверили глазам. Один – старик-феллах в куфие со шнурком-агалом, а другой одет, как горожанин, наверно, еврей. Он объяснил нам, что этот старик – мухтар² из Сакрира. Он хочет поговорить со старшим. Санчо ухватился за случай и отправился провожать обоих. Возвратиться он забыл.

Объявился только через три часа с набитым брюхом и очень собой довольный. Он слышал весь разговор. Старик пришел предложить мир. Деревня Сакрир не желает воевать. Ее жители готовы сдаться при условии, что мы их защитим. Во всей деревне только один человек исполнен боевого духа и готов поддержать Муфтия³. Мухтар предложил устроить ему ловушку, чтобы мы сами им занялись. Он принес длинный список разного оружия, которое было в деревне.

Санчо почесывает ухо – признак того, что он готов пофилософствовать.

– Слушай, друг, – заговорил он голосом, полным энтузиазма. – Здесь я теряю время. Пехота – это для Цуцика и осла Мусы, но не для человека с мозгами, как у меня.

– Пехота – царица полей, – процитировал я фразу из книги, название которой забыл.

² Мухтар (араб.) – староста деревни

³ Муфтий – высшее духовное лицо у мусульман. Здесь имеется в виду Великий муфтий Иерусалима, предводитель палестинского восстания.

– Да, потому что ее имеют все, кому не лень, – объяснил Санчо. – Мне она по херу. Я нашел свое военное призвание. Угадай, что?

Я не смог ничего сказать на этот счет.

– Нам необходимо специальное подразделение для политработы среди арабов, – объяснил он. – Это для меня! Этим феллахам война на фиг не нужна. Мы бы могли заключить с ними мир за пять минут. Нужно только найти тех, кто хочет мира в каждой деревне, подмазать их и убрать эфенди⁴, которые там поддерживают Муфтия. Тогда через месяц нашу власть признают в каждой деревне.

– А если арабские страны войдут сюда со своими армиями?

– Если население на нашей стороне, не будет никакого вторжения. А если дойдет до вторжения, мы устроим гражданскую войну среди арабов. Всегда найдутся те, кто станет сражаться на нашей стороне. Просто они должны увидеть, что мы за феллахов и против эфенди. Нужна только кое-какая разведка.

– Возьми увольнение и объясни всё это Бен-Гуриону, – предложил я.

Энтузиазм Санчо тут же угас.

– Ты ничего не понимаешь, – стал он жаловаться. – Гораздо лучше было бы вести с арабами разъяснительную работу, чем нападать на них и гибнуть самим. Если хочешь погибнуть, это дело твое, а не мое. Можете все тут отдать концы и поставить себе памятники. Только на меня не рассчитывайте. Пехота – не для меня.

Вечером вся рота – кроме нас четырех, проштрафившихся – отправится в Реховот смотреть кино.

Но в последний момент всё отменяют. Роту назначают в резерв. Прошел слух, что другая рота пойдет в наступление на Сакрир. Санчо и я вылупили друг на друга глаза. Зачем идти в наступление, если они предлагают мир?

Вся рота гудит.

– Пёс пусть остается в резерве! – продолжает бушевать Тарзан, но вдруг улыбается. – Знаешь что, давай соберемся здесь компанией и докончим вино, которое осталось с Песаха.

Делаем налет на склад и конфискуем пять десятков бутылок красного вина. Тащим всё в комнатушку, которой предназначено быть нашим «уголком культуры». Мы перетащили сюда мебель из брошенного кафе. Есть табуретки, радио, которое мы достали в батальоне, и ковер, который сам сюда пришел.

Сперва пускаем бутылку по кругу на пару глотков, горланым ротную походную, заводим радио на всю громкость, и атмосфера братской дружбы наполняет комнату.

– Слушайте, вы, алкаши грёбаные! – надрывает глотку Тарзан. – Я за десять пиастров приму всю бутылку одним глотком.

– И я тоже, я тоже! – твякает Цуцик.

– Дам тебе пять, если заглотишь, – подзуживает его Санчо на пари.

Тарзан льет вино себе в глотку и, кашляя, опорожняет бутылку. Денег он не берет. Цуцик одолел полбутылки, потом саданул бутылкой из всех сил по двери и выбежал. Все заржали. Мы встали, шатаясь и хватаясь за стены. Санчо, единственный, кто не надрался в стельку, схватил меня за воротник, отвел в казарму и опустил на кровать. В тот же миг я, не раздеваясь, провалился в сон. Почти через час он разбудил меня.

– Что там такое? Ты что, совсем съехал, будить меня среди ночи?

Меня мутило. Живот скрутило, как в тот вечер перед первым боем.

– Вставай! – тряс меня Санчо. – Ты что забыл, что мы в карауле?

Я застонал, поднялся, нашел свою винтовку и зашкандыбал за ним к складу, который нам полагалось охранять. Там я обнял деревянный столб и сблевал.

– Сейчас подохну, – еле выдавил я.

Все внутренности во мне выворачивались наизнанку.

⁴ Эфенди – господин, землевладелец

– Жду с нетерпением, – безжалостно ответил Санчо.
Я улегся на куче мешков с мукой и опять погрузился в сон.

* * *

Когда я проснулся, солнце светило прямо мне в лицо. Все ушли со склада. Санчо не было, и в голове у меня просветлело.

Перед штабом стоял конвой, похожий на картинку из «Тысячи и одной ночи». Рота, которая была ночью в Сакрире, вернулась в своих бэтэрах, разряженные, как из сказки: тюрбаны и платки-куфии на головах, сверкающие кинжалы на ремнях. И машины тоже были разукрашены: длинные мечи, кальяны, молитвенные четки-машбаха.

Солдат с моржовыми усами, обмотанный куфией, которую обвязал квадратным шнуром-агалом с серебряными нитями, какие носят почтенные шейхи, сообщил Санчо подробности.

– Без этих паскуд англичан всё было бы тихо. Окружили их сраную деревню и заорали им в рупоры, чтоб вынесли нам оружие. Видел бы ты, как они погнали наперегонки сдавать свое оружие. Было на что посмотреть. А потом мы пошли от дома к дому с обыском. Тут узнаем, что эти хреновы англичане приперлись сюда из Сарафанда с танками. Ну, мы тогда сразу свалили.

– Да пошли бы эти англичане, – выругался кто-то на соседней машине. – Я только глаз успел положить на одну штучку, пухленькая такая черноглазка. Только ее хотел прижать, а мы тут дали задний ход.

– Ты что, хотел арабку шпокнуть? – стал подначивать его моржеусый.

– А чего? На войне как на войне. Что тебе не нравится?

– А почему бы нет? – ввязался третий. – Если можно убить, можно и помять.

– Ну, это другое. Убивать на войне положено, а насильничать – противно это.

– Вонючих арабок, особенно, – скривился усач.

– О вкусах не спорят, – философически добавил кто-то.

За обедом в столовой услышали, что взяли в плен трех арабов, и Джамус, наш египтянин, караулит их.

– Пошли, посмотрим на них, – позвал Тарзан.

Трое арабов сидели в пустой казарме на земле и о чем-то тихо разговаривали. Все трое молодые: от пятнадцати до двадцати пяти. Красивые стройные парни со страхом на лицах.

Джамус слушает, но делает вид, что не понимает. Он родился в Египте, и с виду точь-в-точь арабский эфенди. Вальяжный, и щеголяет пышными черными усами. Ему приходилось работать по-черному в арабских странах, это ему надоело и, когда началась война, он записался в армию. И в голову не пришло бы, какой феномен оказался в нашей роте: учился в британском колледже в Египте, дослужился до высокого чина на британском флоте, стал членом пограничного кибуца, а теперь – простой солдат.

Египтяне о чем-то перешептываются внутри казармы, не нашли у них автомата, который значился в списке Мухтара.

– Почему Джабер убежал с автоматом? – спросил старший, курчавый и с огромными усами. Нужно его вернуть.

– Верно, убежал в Рамле.

– Евреи нас сперва отметелят, а потом пристрелят.

– Они этого не сделают. Они знают, что мы невиновны.

– Евреи так не делают. Они нас будут судить и поймут, что мы невиновны.

– Но перед этим они нас отмутузят.

Тарзан зашел внутрь и предложил им сигареты.

– Майа, майа... Воды, воды... – взмолился младший.

Тарзан взял пустой кувшин и прошел мимо, не глядя.

– Всё равно иду в столовую, что-нибудь попить.

Он вернулся с лимонадом.

Старший встал и попросился по нужде. Сам надел себе на глаза повязку. Я взял его под руку и провел в нужник на другой стороне дороги. Подождал, пока он кончит и даже дал ему кусок старой газеты.

На обратном пути араб забыл надеть повязку на глаза, но мне было всё равно. Почему бы ему еще раз не посмотреть на солнце?

Вдруг он начинает кричать: «Хавайя Кон! Хавайя Кон! – Господин Кон!» и показал пальцем на группу каких-то гражданских на дороге.

Мы подозвали человека по имени Кон, и он завел разговор с пленным. Кон – фермер из Реховота, и этот араб когда-то работал у него на апельсиновой плантации. Он сказал нам, что знает его как друга евреев и может за него ручаться.

Тарзан и я побежали к командиру роты рассказать об этом, но тот не проявил интереса и послал нас к старшему по разведке.

Мы вломились в кабинет разведчика и увидели там незнакомца, возможно, это был кто-то не из боевого подразделения. Мы быстро выложили всю историю.

Когда он понял, что мы простые солдаты, лицо его побагровело:

– Как вы смеете врываться сюда? Как вы смеете обращаться к офицеру, не доложившись? Марш к дверям и стать по стойке смирно!

Хотелось въехать ему по рылу, но мы поняли, что лучше не раздражать его, потому что он может сорвать злость на пленном. Мы вернулись к дверям и стали по стойке смирно.

– Мы считали своим долгом доложить об этом, иначе этого человека могли бы убить без всякой причины.

– А вам какое дело? Вы что, решили учить меня моей работе? Убирайтесь отсюда, пока я не написал на вас рапорт!

Мы вышли и остановились у двери. Мы не знали, надо ли нам вернуться и врезать ему, или плюнуть на всё. Я утешал себя тем, что хотя бы записал имя фермера. Может быть, его заявление принесло бы, в конце концов, какую-то пользу.

* * *

Что стало с этими тремя? Я давным-давно забыл от этой истории, но сейчас она вдруг всплыла и показалась мне очень важной. Может быть, их отпустили, и они вернулись в Сакрир? Но потом я вспомнил, что Сакрира больше нет. Его жителей изгнали еще до вторжения египтян. За два дня до ранения я случайно оказался там и увидел новых обитателей деревни. Они говорили на каком-то странном славянском языке. Покинутая деревня. Одна из многих. Еще три человека. Еще три капли в мутном море того, что называют войной...

Ну, их к дьяволу! Сколько можно крутить эту шарманку!

Я не хотел думать об арабах. Об этих арабах. Разве можно думать об арабах и не припомнить чего-то страшного? А мне нужны приятные воспоминания, веселые воспоминания. Надо их найти. Ведь есть же они где-нибудь! Надо только поднапрячься. Арабские голоса, смех...

Да! Вот оно... Мы в деревне Манцува. Медленно восходит солнце. В бледном утреннем свете проступили египетские позиции в километре от нас. Мы усталые, но довольные: вчера вечером хорошо поработали. Вшестером подползли вплотную к египтянам. Дотронулись до колючей проволоки и услышали кашель изнывающего от скуки часового у пулемета. Потом ползли вдоль колючек, пока не нащупали телефонный кабель, связывавший эту позицию с соседней. Умелые ребята подключили их кабель к нашему, который мы проложили от своих

позиций к Манцуве. Никаких происшествий. Отползли назад, присыпая кабель песком. Красивая работа.

Сейчас сидим и ждем, когда египтяне начнут говорить по линии. Джамус держит в руке аппарат. Из любопытства спрашиваю его в помощники: он будет переводить, а я – записывать.

– Алло, Фаллуга! Алло Фаллуга! – голос молодого египтянина.

Палестинцы произносят это название как «Фаллуджа».

– Наам йа сайеди – Да, сэр – ответил вышколенный голос.

Вот это удача! Наверно, штабной офицер в Маждале, египетском городке на юге. Мы действительно подключились к главной линии связи всех египетских позиций на фронте.

– Что нового? – переводил Джамус.

– Альхамдулилла – Славен Бог, – ответил он философски и туманно.

– Исма йа, – Слушай, Сулейман, – заговорил собеседник заискивающим тоном.

Ну почему во всех армиях мира солдаты на передовой лижут задницы героям штаба?

– Что случилось? – Штабист знает себе цену.

– Сулейман, вы там, в штабе, и всё знаете. Когда нас отсюда отпустят?

Волшебное слово «отпустят». Сердце Сулеймана тает, и он горестно вздыхает:

– Бог знает когда, я не знаю.

Мы с Джамусом улыбаемся. На минуту они перестали быть нашими врагами. Люди, которые могут завтра нас убить – или мы их. Мы все стали товарищами в Интернационале серых фронтовых мышей, у которых всё одинаково: страдания, тоска, повседневная возня и страх.

– Когда же кончится эта война? – опять вздохнул низший чин в Фаллуге.

– Ладно, закройся, – отрезал штабист – Всё в руках Аллаха.

Я усердно записываю. Важные разведданные Упадок духа. Усталость от войны. И это лучшая бригада египетской армии... «Чушь собачья!» – вдруг говорю я сам себе. А разве мы не произносим точно таких же слов? Усталость от войны? Кто от нее не устал? Разве не пустились бы мы с восторгом в дикий пляс, если бы объявили, что мирное соглашение подписано?

В конце концов, почему бы нет? Ради чего мы воюем? Почему они целят в нас из британского оружия, а мы в них – из чешских автоматов?

Из-за чего нам спорить? Разве они не хотят того же, чего и мы: прогнать англичан, американцев и французов и строить свой Египет, Палестину, Сирию или Ирак?

Вдруг мной овладела сумасшедшая мысль выхватить аппарат у Джамуса и самому поговорить с ними.

– Слушай, Сулейман, – сказал бы я ему. – Мы просто теряем здесь время. Если мы убьем друг друга, никакой пользы от этого ни твоей, ни моей родине не будет. Твой отец мусульманин, а мой – безбожник, и они ненавидят друг друга. Но ты и я, Сулейман, почему мы должны быть врагами? Разве наша родина – не тот же самый клочок земли? Мы говорим на почти одинаковом языке, но если мы здесь перессоримся, британцы, янки или мужики придут и сожрут нас. Если бы у нас, Сулейман, была хоть крупинка здравого смысла, мы устроили бы дружескую пирушку – «сульху», как вы ее называете. Я бы помог вам прогнать англичан из Судана, а вы мне дадите воду, чтобы оросить мою землю. Мы стали бы трудиться вместе, пробудили бы эту сонную страну и стали жить в мире и дружбе.

Что за дурацкая идея! Нам запрещено разговаривать с противником по телефону, потому что там сразу же поймут, что мы подключились к их линии. И чего, в конце концов, мы можем добиться, Сулейман, Джамус и я, и сотни, лежащих здесь на земле и стремящихся убить друг друга? Чего стоят наши мнения? Мы – пешки на большой шахматной доске, которые двигает тот, для которого всё, что думают Сулейман и я, имеет такое же значение как любовные игры наших кусачих блох.

– Быстро, записывай! – командует Джамус.

Ирак Сувейдан разговаривает с Бейт Джибрином. Речь о легких танках и тяжелых автоматах викарс. Наверно, старшие офицеры. Голоса их приятнее, чем два предыдущих. Одного из наших летчиков недавно сбили над Бейт-Джибрином. Его сейчас доставят на допрос в Ирак Сувейдан. Прекрасно! Нам нужно будет сразу же сообщить об этом в штаб бригады. Может быть, его удастся спасти по дороге.

– Когда ты в последний раз был в Египте? – спрашивает Бейт-Джибрин.

– А, Египет, – отвечает Ирак Сувейдан с тоской в голосе. – Всего две недели назад.

– Да? – завистливо переспрашивает Бейт Джибрин. – Ну, как сейчас «Группи»?

При воспоминании о популярном каирском кафе голос его оживает.

– Жизнь бьет ключом! И не подумаешь, что где-то идет война.

– Тыловые крысы! Чтоб их черти взяли! – взрывается Бейт Джибрин. – Мы здесь валяемся в грязи, а они себе райскую жизнь устроили. Я бы послал туда свою роту, чтоб из них кишки вытрясла.

Каир или Тель-Авив, «Группи» или «Пильц». Отношения фронта с тылом везде одинаковы.

– Как твоя жена?

– Еще спрашиваешь! – Ирак Сувейдан отвечает, будто потрясен вопросом. Но выходит фальшиво. У них тоже нет любовных секретов от однополчан. – Знаешь, как сразу после свадьбы. Не слезал с кровати четыре дня подряд.

– Завидую. А как дети?

– Оба в порядке. Малыш уже зовет меня «Папа». Весь в меня, чертенок.

– Египет, – размечтался Бейт Джибрин. – Дом, девушки, кафе, музыка. Сказка!

Я перестал писать. А Джамус переводит слова, как замороженный: «Дом, девушки, кафе, музыка. Сказка!»

Мы, однако, не в Каире, и не в Тель-Авиве, а в Бейт-Джибриле и в Манцуве. Разделяют нас всего несколько километров. И живем мы в двух разных мирах, готовые во имя арабской свободы или торжества сионизма убивать друг друга, готовые подчинить себя любой иностранной державе лишь для того, чтобы продлить эту идиотскую братоубийственную войну еще на годы и на поколения.

* * *

Мне случилось пережить это только раз, когда возник и продержался несколько дней невидимый мост между фронтами.

Мы занимали позиции напротив окруженной Фаллуги. Тянулись дни нестерпимой скуки. Бесконечный дождь развез землю, армейские бутсы застревали в глубокой грязи, наши палатки промокли насквозь и никогда не просыхали, а часовые в окопах стояли по колено в воде. Единственной отрадой для меня с Джамусом – поздравьте, нас повысили в должности до командира взвода! – было посещение палатки-столовой, где мы втихаря умяли банку ананасов. Или когда нам удавалось провести четверть часа в командирской палатке с радистом Туки-попугайчиком. Туки был чокнутый и задерганный, как все радисты. Высокий тощий парень с глубоко запавшими скорбными глазами – настоящий живой труп. Попугайчиком его прозвали за непоседливость: не мог устоять на месте и трех минут.

Раз утром мы с Джамусом отправились на кухню разведать, что там готовят на обед. Туки возбужденно окликнул нас и подозвал. Он перехватил позывной арабской станции и понял, что он из лагеря окруженных: те пытались наладить связь с Газой или с Хевроном. Джамус тут же ухватился за случай и подарил нам несколько волнующих минут среди моря скуки.

– Алло – Bravo-Альфа-Один – Bravo-Альфа-Один. Куйф тисмайни – Как слышно? – Прием.

Египетская сеть использовала тот же британский порядок ведения связи, что и мы. Даже голоса операторов были похожи – единственным отличием был язык. Джамус надел наушники и стиснул микрофон в руке. Лицо его отражало внутреннюю борьбу: нам строго запретили выходить на египетские частоты, чтобы те не догадались, что их подслушивают. Бестолковый приказ, потому что наши радисты, как и египетские, знали, что «враг подслушивает».

Душевная борьба Туки длилась не долго, и мы услышали:

– Алло, йа мизрил. Теезак хамра леш? – Эй, ты, мизрил, египтянин? Скажи, почему у тебя жопа красная? – Перехожу на прием.

Молчание. Точно также, как Туки было запрещено выходить на египетскую частоту, египтянин не имел права отвечать ему на израильской. Но разве может солдат смолчать на такое колючее оскорбление? Тем более, когда ответ очевиден.

– Потому что ты, пес еврейский, перестарался, когда ее вылизывал. – Перехожу на прием.

– Ускут йа ибн келб! Ты грязный сукин сын! Перехожу на прием.

– Не равняй наших женщин со своими, бордельный зазывала! Наши женщины ждут нас с открытыми объятиями. Перехожу на прием.

– А когда ты, придурок, надеешься увидеть эти руки? Ты будешь здесь торчать еще десять лет. Перехожу на прием.

Египтянин знает, что в этом есть доля правды. Шансов скоро вернуться домой у него почти никаких. И почти никаких – прорвать блокаду. А если война скоро не закончится, то он либо получит пулю, либо околет с голоду, либо окажется в плену. Он хватается за соломинку оптимизма:

– Я отсюда выберусь, но пока ты попадешь домой, твоя жена станет старухой. Перехожу на прием.

Всему есть предел. Забавы ради, Джамус готов расточать комплименты родителям и малышам, но если коснется его девушки, всё меняется. За верность ее он бы не стал ручаться. И у него нет ни малейшего желания оттрубить на фронте еще пять лет. Он забывает о своем египетском происхождении и переходит на чистый иврит:

– Yob tvoyu mat, грязный араб!

– Закрой пасть, пес еврейский!

* * *

Этот первый радиообмен породил особый характер отношений между Джамусом и Ибрагимом. Каждое утро с того дня Джамус и Туки настраивали свои приемники. В десять ноль-ноль раздавалось громкое потрескивание на египетской частоте, и по эфиру прилетал чистый звук вызова Ибрагима:

– Алло, алло – Bravo-Альфа-Один, алло – Bravo-Альфа-Один – Bravo-Альфа-Один ...

Туки передавал наушники Джамусу, и начинался обмен сочными ругательствами.

Это ежедневное развлечение наполнило жизнь Джамуса новым содержанием. Свои обязанности командира взвода он передал мне. На меня было возложено распределение пищевых продуктов и составление караульного графика. Джамус был занят. Он сидел в своей палатке-малютке, мусолил огрызок карандаша и записывал древние ругательства на куске старой газеты. Он силился вспомнить что-то из своих школьных дней или изобретал новые. Предметом его неумных желаний стало сложить самое смачное, самое неслыханное ругательство. Это ругательство потрясет и сразит Ибрагима так, что он не сможет найти ответ и должен будет признать поражение.

Но у Ибрагима тоже есть талант – и время. И каждое утро у него готов новый список. Все батюшки и матушки до пятого колена, братишки и сестрички, дядюшки и тетушки, вера,

нация, страна родная – всё становилось мишенью бесконечных ругательств и оскорблений, и дуэль так и не приходила к достойному завершению.

Но среди всех оскорблений Джамус и Ибрагим умудрялись рассказать о своей жизни, и если бы им когда-нибудь было суждено встретиться, несомненно, узнали бы друг друга.

На шестой день этих диалогов Джамус получил увольнение на день, и при утреннем сеансе брани и поношений сказал об этом Ибрагиму. Тот замолчал и задумался. Положение осажденных было хуже некуда. Уже была перерезана их последняя тропа, по которой глубокой ночью подвозили кое-какие припасы. Остро не хватало еды, лекарств и патронов.

– Слушай ты, бордельный вышибала...

Ибрагим примолк. Впервые он обратился с личной просьбой. Ему это было нелегко. В Яффо у него жила сестра, и он ничего не слышал о ней с начала войны. Если Джамус готов помочь ему в этом деле, он выйдет на связь через полчаса и сообщит ему адрес. У Джамуса не было времени: джип на Гедеру должен был вот-вот отъехать. И всё же он стал ждать.

На следующий день он вернулся мрачный. Когда он вошел в палатку, я корпел над мудреной задачей справедливого распределения дежурств.

– Ну? – спросил я.

– Ничего, – сказал он.

– Ты ее не нашел?

– Ее там нет.

– Ты зашел в управление военной администрации?

– Везде был. В том доме сейчас живут новые иммигранты. Арабы помнят, что видели ее в городе после того, как Яффо уже взяли. Думают, что погибла.

В десять часов мы все трое снова собрались у радио и услышали голос Ибрагима:

– Алло! – Я – Bravo-Альфа-Один, Bravo-Альфа-Один.

Джамус сжал наушники, но не ответил. Вызовы Ибрагима звучали снова и снова, пока не замолкли без надежды.

На следующее утро он сделал еще одну попытку, и опять Джамус сидел у радио, мрачный и угрюмый, не произнося ни слова.

– Фейн инта йа, Джамус – Куда ты пропал, Джамус, – молил Ибрагим.

Джамус молчал.

– Какое тебе дело? – сорвался Туки, не выдержав молчания. – Да скажи ты ему правду и кончай!

– Поцелуй меня в задницу! – огрызнулся Джамус.

На третий день голос Ибрагима звучал, как дальнее эхо. Аккумуляторы его аппарата сели и почти сдохли. Еще несколько минут мы слышали слабеющие вызовы, пока они не смешивались с треском помех и не потонули в них. Запасных аккумуляторов не было.

Невидимый мост между двумя фронтами рухнул...

Юность в «Иргуне»

– Сестричка! Сестричка!

Мой крик запоздал. Несколько минут раненый не сводит бессмысленных глаз со стакана на столике у кровати, потом пытается приподняться на локте. Его лицо исказила боль. Медленно, с огромным усилием, он приподымается, но, так и не дотянувшись до стакана, валится обратно на подушки.

Вбежала Рахель и включила верхний свет. Лицо раненого горит. Он лежит неподвижно с раскрытым ртом. Только глаза у него пронзительные, будто вобрали весь остаток его жизни. Они наполнили палату беззвучным криком.

– Ну – зачем – вы – меня – мучите? – мычит он.

Рахель поглаживает его волосы и говорит с ним, как с малым ребенком.

– Не глупи. Мы не хотим тебя мучить. Мы хотим тебе помочь, чтобы ты поправился.

Она говорит тихим голосом, и я не знаю, кого она хочет убедить: его или себя.

– Что я вам сделал? Что я сделал?

Он пытается кричать, но уже слишком слаб для крика. Его слова обрывает легочный хрип, который хуже всякого крика.

– Держись! – говорит Рахель. – Всё будет хорошо. Завтра боль пройдет. А сейчас ты должен ее вытерпеть.

Раненый не замечает ее. В голову ему приходит новая мысль: для двух мыслей сразу у него нет сил.

– Ты – меня – ненавидишь, – выкашливает он. – Вы – все – меня – ненавидите...

Рахель охватывает ужас. Она беспомощно смотрит на него.

– Вы – меня – убиваете – потому что – я – воевал – в «Эцэле»⁵.

Ужасные слова повисли в воздухе.

Рахель выбежала из комнаты. Кажется, она заплакала. Верхний свет остался включенным.

Мы одни – он, я и его мучительное дыхание.

Вдруг он замечает меня и очень медленно поворачивает ко мне голову. Наши глаза встречаются, и он пронзает меня полным ненависти взглядом. Ненависти первобытной, утробной, беспредельной.

Страшное чувство вины. За что он ненавидит меня? Может быть, он ощущает, что мои шансы остаться в живых выше, чем у него? Я чувствую, что должен просить у него прощения, объяснить ему, что смерть нависла и надо мной, сказать ему хоть что-то: только бы спастись от этих обвиняющих глаз.

Может быть, он ненавидит меня за то, что я был солдатом «Хаганы», когда он был в «Иргуне»? Надо ли рассказать ему, что я тоже был в «Иргуне» много лет назад?

* * *

Состоял в «Иргуне».

Август 1938 года: через месяц мне исполнится пятнадцать. Страна два года охвачена волнениями. Руководство Ишува⁶ призывает к сдержанности и требует помощи от англичан.

⁵ «Эцель» – ивритское сокращение от «Национальная военная организация (на иврите «Иргун цвай леуми), коротко «Иргун» – еврейская подпольная организация, действовавшая на территории Палестины с 1931-го по 1948 год.

⁶ Ишув (буквально `заселённое место`, `население`) – собирательное название еврейского населения, использовавшееся в основном до создания Государства Израиль.

Оно надеется на раздел страны. Радикальное меньшинство требует карательных акций и выступает против раздела. Мне четырнадцать лет, меня влечет к меньшинству.

Восемь вечера. Я иду по улице Калишер к старой школе на углу Хатавор. Пульс скачет, а колени дрожат. Пришел величайший час моей жизни. В прошлом – годы школьной скуки, которые нечем вспомнить. Затем несколько месяцев работы: сперва в мастерской, потом – в конторе. Сейчас передо мной распахнулась новая жизнь. Жизнь, полная опасностей и посвященная цели. Как и всех в моем возрасте, политика таинственно притягивает меня. Без политики жизнь пуста, лишена смысла и назначения. У входа в школу хохочут какие-то парни, меряя меня презрительными взглядами. Дрожа, я прохожу мимо. Это охрана у входа в подполье! Романтика книг и фильмов бродит в моей голове. Риск! Вот это настоящая жизнь! Меня одолевает страсть ринуться в бой за что-то, сам толком не зная за что.

Под лестницей стоят парень с девушкой. Они старше меня.

– Пароль! – требовательно произносит парень.

– Йе-хо-аш – выдавливаю я, как заика.

Я сто раз с утра повторил это слово, когда недоверчивый парень передал мне листок, на котором оно было написано.

– Второй этаж направо!

– Подожди, пока тебя вызовут, – добавила девушка.

Я поднимаюсь по темной лестнице. Несколько мальчишек моего возраста ждут на скамейке в коридоре, волнуясь, как и я. Все в безуспешных стараниях придать себе вид опытных и бывалых. Через закрытую дверь в конце коридора иногда доносится топанье, как на плацу, где идет строевая подготовка. Мое возбуждение растет, у меня перехватывает дыхание. По лестнице, о чем-то перешептываясь, поднимается группка парней. До меня долетают обрывки разговора:

– ...того рыжего вчера арестовали...

– ...он не расколется...

– ...отметелят его...

– ...им надо было стрелять из своих пушек...

Один из них оборачивается на нас, ядовито усмехаясь:

– Кажется, открыли здесь новый детский сад.

– Не задирай нос, – отвечает ему кто-то. – Скоро они дадут тебе сто очков вперед.

Арест! Выстрелы! Допросы с пристрастием! Нам дадут задание. Ради этого стоит жить и идти на риск.

Дверь распахивается, и на миг я оказываюсь в луче света.

– Ты, давай заходи!

Кто-то хватая меня за руку, вводит в комнату, опускает на стул и исчезает.

Я ничего не вижу. Яркая лампа на столе светит прямо мне в лицо. Но я ощущаю, что передо мной сидят какие-то люди. Может быть трое, может быть, четверо. Неестественно глубокий голос произносит мое имя и мой адрес. Я киваю. Я боюсь говорить, потому в горле у меня пересохло, и я охрип.

– В какую школу ты ходишь?

– Я... Я не хожу в школу. Я работаю у адвоката.

Ну, слава богу. Я могу говорить, и голос у меня почти нормальный.

– Так ты работаешь? М-ммм... А как давно?

Похоже, тот факт, что подростки могут работать, для комиссии «Иргуна» новость.

– Больше года.

За столом о чем-то шепчутся. Один из голосов – женский. Потом глубокий голос задает мне вопросы о моих политических взглядах. Когда я решил вступить в Иргун? Знаком ли я с его задачами? Готов ли я столкнуться с опасностью?

– Ты ненавидишь арабов?

Чувствуется, что спрашивающему это наскучило. Вопросы стандартные.

– Нет, – говорю я.

И тут же ощутил, что совершил ошибку. В комнате воцарилось молчание. Я выругал себя. Почему бы мне не сказать, что я ненавижу арабов. Теперь меня не примут.

– А англичан? Их ты ненавидишь?

– Нет! – повторил я автоматически.

Теперь всё потеряно. Чувствую, что люди с другой стороны стола смотрят на меня с жалостью. Как на безрукого или безногого. Начинается перекрестный допрос. Пытаюсь объяснить им свои недопеченные мысли. Англичан нужно прогнать, и арабских эфенди тоже. Тогда мы сможем договориться с простыми арабами и основать вместе с ними государство. Я запинаясь, спотыкаясь на словах, презираю себя. Через полчаса они меня отпускают. Я весь, как выжатая тряпка.

На следующее утро в моей конторе появилась черноволосая девушка и передала мне записку. «В воскресенье, в двадцать ноль-ноль, прийти на обычное место опрятно одетым. Пароль: Рош-Пина».

* * *

Субботний вечер. Без четверти восемь. Не спеша идем с Ривкой по улице Алленби. На мне мой единственный приличный костюм: итог полугодовой экономии. И впервые в жизни я надел галстук. Ривке тоже пятнадцать. Она впервые в жизни покрасила губы. Под мышкой у нее небольшой пакет в оберточной бумаге. Это моя первая настоящая операция. Мне страшно, но я держусь героем боевика, чтобы поразить Ривку. Мы стоим у киоска Уитмена. Стрелки больших часов на другой стороне улицы движутся ужасно медленно. Проходит краснорожий толстяк и внимательно нас разглядывает. Я тут же вспоминаю об Уилкинсе, знаменитом инспекторе, имя которого у всех на устах. Слава богу, краснорожий не задержался. У лотков с мороженым толкуются синерубашечники⁷. Наверно, члены «Хаганы»⁸.

Я стараюсь успокоить нервы. Нам сказали, что там будут старшие с оружием, чтобы – если понадобится – защитить нас. Страшный миг приближается. Не сдрейфлю? В животе странная пустота, и коленки трясутся.

– Сейчас, – говорит Ривка.

Часы пробили восемь.

«Тишиииииииииииииииии!» Все задрали головы к небу. Со стороны пляжа взвилась красная ракета. Это работа нашего командира Йорама. Я беру пакет у Ривки, срываю оберточную бумагу и подбрасываю его в воздух. Листовки парят над землей, как снег. Люди бросаются и хватают их. Пытаются поймать еще в воздухе. Я тоже наклоняюсь и подбираю листовку. Мы продолжаем прогулку, демонстрируя свой интерес к прочитанному.

Движения автоматические. В самый главный момент – никаких ощущений. Невероятная гордость переполняет меня. Я не трус, я способен действовать не хуже других!

– Эй ты, подожди!

Со стороны улицы Шенкин возник полицейский. Мое сердце замерло. Значит, нужно будет разыграть номер. Может быть, он заметил, как я подбросил вверх листовки?

– Что вам угодно?

Я нахально улыбаюсь и бросаю через плечо многозначительный взгляд. Я удивлен, до чего тверд мой голос. Мне очень страшно. Полицейский открывает рот, чтобы что-то сказать, но передумывает. Мы проходим мимо него и поворачиваем на Шенкин к месту встречи.

⁷ Форма молодежной организации социалистов.

⁸ Хаганá (ивр. – оборона, защита) – еврейская военная подпольная организация, существовавшая с 1920-го по 1948 год во время британского мандата в Палестине. С образованием еврейского государства стала основой Армии обороны Израиля.

В листовке сказано, что бойцы «Иргуна» в качестве возмездия за нападение арабов взорвали бомбу на арабском рынке и убили столько-то арабов.

Меня распирает от гордости, я чувствую себя героем, и настроение мое – лучше некуда. Я принял участие в опасной операции, говорю я себе, теперь я мужчина, и обвиваю рукой талию Ривки.

– Убери руки! – говорит она и отворачивается.

– За нами хвост, – вру я.

Нас проинструктировали в случае опасности вести себя, как влюбленные.

Мы должны прийти в садик за медицинским центром на улице Мазех. В этом закоулке темно, нам было ближе всех, и мы пришли первые. Я подвел Ривку к укромной скамейке у кустов и усадил ее рядом с собой. Она отодвинулась, но я опять привлек ее.

– Ты что, спятил! – вскрикнула она, но осталась в моих объятиях.

Что-то зашуршало в кустах. Пришла следующая пара.

– Ну как прошло? – спросил Йошка.

– Ничего особенного.

Я стараюсь выглядеть равнодушным, будто такие мелкие вылазки меня ничуть не волнуют.

– Полицейский хотел нас остановить, но мы увернулись.

– Йорам обещал, что через полгода вы получите пистолеты.

– Надеюсь, – ответил я с притворным зевком.

* * *

Я лежу дома на кровати и жду, когда пойдут спать родители. Оба крепко вкальвают днем и ложатся рано.

Под нами, на втором этаже, играет граммофон. Мальчишка что-то кричит, а женщина хохочет громко и вызывающе. Это моя рыжая соседка. У нее каждый вечер загул. Испорченные юнцы-бездельники. А сама она рыжая – высокая и соблазнительная. Несколько раз в день мы сталкиваемся на лестнице, и она окидывает меня презрительным взглядом. Думает, что я робкий и стеснительный, потому что ни разу не попытался с ней сблизиться и попасть на ее вечеринки... Я часто испытываю искушение намекнуть ей на свое участие в подпольной организации. Если бы она обнаружила пистолет в моем кармане, то, наверно, поменяла бы обо мне свое мнение. Но надо быть осторожным.

Там опять хохочут.

Нам, членам «Иргуна», не приходится думать о том, как убить время. Мы в постоянном напряжении – от одной операции до другой – и всегда в опасности. «Иргун» – это и работа, и азарт, и любовь – всё вместе. Это заполняет до предела дни и отнимает все силы. Цель – определена. Наши задачи и пути их решения вопросов не вызывают. Надобности углубляться в суть вещей у нас нет.

В конторе я клюю носом. Хозяин уже поинтересовался, что со мной, и пригрозил уволить. Будто работа имеет для меня какое-то значение. Особенно сейчас, когда британцы, опубликовали «Белую книгу»⁹, а «Иргун» готовит главный удар.

* * *

Свет в комнате родителей погас. Я встаю и открываю свой шкаф. В нем несколько полок. Три верхних забиты книгами, а вся одежда и личные вещи – на нижней.

⁹ Опубликованный в 1939 году план британских властей относительно еврейско-арабской Палестины, предполагающий пропорциональное представительство, а также ограничивающий еврейскую иммиграцию и покупку земли.

Мой взгляд скользит по книгам. Я покупаю их одну за другой и все прочитываю. Чтобы сэкономить на книги, я отказался от новой одежды и кино.

Книги разложены по размеру и по содержанию. На двух верхних полках – политика. А политика – это революция: Макиавелли, Маркс, Ленин, Ганди, Сталин, Гитлер. Под ними – книги по истории войн и о военачальниках.

Мне шестнадцать лет, и не всё в них мне понятно. Некоторые приходится перечитывать по два-три раза, пока мне не начинает казаться, что я понял содержание. Их авторы – мои учителя.

Стихи, музыка, живопись и другие прекрасные вещи для меня не имеют значения. Я родился в год, когда Муссолини начал свой поход на Рим, а когда мне было десять – к власти пришел Гитлер. В тринадцать лет – в Палестине начались беспорядки, а в Абиссинии – война.

Нас воспитывали не для прекрасного и возвышенного. Да, мы разучивали песни. Но эти песни были не о прекрасном, а о нации. Они учили нас жертвовать собой за родину. Ничто другое наших учителей не интересовало. «Хорошо умереть за родину» – в этом была суть нашего образования. Она заменяла собой всё: и музыку, и живопись, и эстетику, и всё прекрасное в мировой литературе.

Мои родители трудились с утра до ночи. У них не было времени следить за мной. А если бы и было – что это могло изменить? Никто из нас не держался за мамину юбку. Пропасть между поколениями была слишком велика. Мы отвернулись от своих родителей еще в детстве.

* * *

Между книгами было несколько пакетов, и выглядели они как книги в обертке. Пакетов было шесть – пистолеты! Арсенал нашей группы.

Я открыл один из них: сверкающий немецкий люгер. Легко разбирается. С любовью протираю его, опять смазываю все части и собираю. Вообще-то, это против правил. Пистолеты хранят у меня, но право пустить их в дело есть только у Йорама, командира группы. В них что-то влекущее, гипнотическое. Или просто ощущение того, что любая из этих штук может отправить меня в Акру¹⁰ на долгие годы.

Чищу все шесть – один за другим. Люгер, который мне нравится больше всех за удобство и красоту, и немецкий маузер, который мы все ненавидим за сложность конструкции, изящный ПБ, и кольт, напоминающий нам о ковбоях в кино, и древний русский наган, и бельгийский ФН, дающий чувство надежности. Я изучаю их дома по вечерам и поэтому разбираюсь в них гораздо лучше других членов нашей группы, что, конечно, наполняет меня гордостью.

Почистив пистолеты, я снимаю каждый с предохранителя, медленно опускаю горизонтально, прицеливаюсь и нажимаю на курок. В окне напротив кто-то стоит, и если бы пистолет был заряжен, я бы попал в него. Мороз пробегает по спине.

* * *

На следующий вечер я иду по Алленби с двумя большими книгами под мышкой, и с третьей – в бумажной обертке между ними. Иногда я останавливаюсь у витрин и праздно рассматриваю разложенные в них предметы. Каждый идущий за мной мужчина кажется мне сыщиком. Я нагибаюсь и завязываю шнурки, пока он не скрывается из виду.

Вот я у дома. Девушка и парень стоят и разговаривают. Такие же, как и другие пары, что прохаживаются вокруг домов в этот вечерний час и украдкой целуются. Но с обратной стороны

¹⁰ Акра (Акко) – один из древнейших городов Палестины. Во время британского мандата ее средневековая крепость многие годы служила тюрьмой.

забора есть тайная кнопка на уровне детской руки. Йошке, который учился в технической школе, установил этот сигнал тревоги.

Поднимаюсь по лестнице на самый верх. Место встречи – умывальник, тускло освещенный керосиновой лампой. Человек десять из группы уже здесь. Наш командир Йорам, двадцатипятилетний почтальон, объясняет новичкам, как нужно целиться и стрелять. Чертит карандашом крестик на двери. Мы кладем наше оружие на подушки, которые должны играть роль мешков с песком и целимся в крест. Йорам следит, чтобы всё было точно.

Мы словно участвуем в священном ритуале. Закрываем один глаз, задерживаем дыхание, целимся. Совсем не просто неподвижно удерживать пистолет на подушке. Ничтожное движение сбивает прицел в сторону от цели. Йорам закрывает один глаз и проверяет положение.

– Отлично, – говорит он, – точно по центру.

Мои товарищи, не знающие, сколько часов я отработывал это упражнение дома, завистливо поглядывают. Как я горд! И в эту минуту всей душой презираю тех, кто не в «Иргуне».

* * *

1940 год. За нашими границами бушует война, а «Иргун» призвал к перемирию. Мы продолжаем интенсивные тренировки, совершаем изнурительные походы и готовим себя к будущей борьбе. Мне поручено проникнуть в молодежные объединения и организовать в них подпольные ячейки. Я становлюсь то спортсменом из «Маккаби», то моряком из «Цебулума», то вожатым в «Молодом сионисте».

Информационными материалами «Иргун» меня не балует, и я почти всегда должен полагаться лишь на то, что знаю сам. Иногда я замечаю расхождения между официальной позицией «Иргуна» и тем, что я пропагандирую от его имени, но не даю ходу своим сомнениям.

Однажды я пошел на массовую демонстрацию «Молодых сионистов». Забыл уже, в чем была ее причина: то ли закон о покупке земли, то ли запрет на прибытие судна с иммигрантами. Организации Ишува объявили забастовку. Мы несли флаги и много хвастливых лозунгов, в которые никто не верил. Рядом с мусульманским кладбищем у пляжа какие-то деятели произносят пустые речи. Вид у них жалкий, и внимания на них никто не обращает. Вот большеносый коротышка чуть не пляшет от восторга. Взбивая руками воздух, он срывающимся голосом пророчит войну до последней капли крови.

– Болтуны, – ухмыляется Срулик из молодых сионистов, записанный в моем блокноте как член «Хаганы». – Всегда треплются и ничего не делают!

– «Хагане» следовало бы проявить себя, – как бы случайно замечаю я.

– Проявит она себя с этим старьем в руководстве, – безнадежно отвечает он.

Я беру его слова на заметку, чтобы использовать в своем очередном отчете.

Наш истеричный организатор вдруг понижает тон и велит нам поднять флаги и лозунги. Мы поем «Ха-Тикву»¹¹ и получаем указание помаленьку расходиться.

– Это просто скандал! – возмущается Срулик.

– Ну, так пошли. Устроим что-нибудь, – предлагаю я.

– А что мы можем сделать? – скептически спрашивает он.

Я знаю, что «Хагана» запретила своим членам устраивать беспорядки. «Иргун» тоже запретил нам участвовать в демонстрациях.

В руке у меня флаг. Я не сворачиваю его. С флагом, развивающимся над нашими головами, я марширую к улице Бен-Йегуда. Улица узкая и единственная, по которой можно

¹¹ «Ха-Тиква» (Надежда) – песня, которую исполняли как гимн во время британского мандата, затем ставшая официальным гимном Израиля.

пройти в город. Вокруг нас собирается целая толпа молодежи. Неожиданно для самих себя, мы превращаемся в демонстрацию.

Один из вожаков молодых сионистов проталкивается ко мне и требует свернуть флаг. Я его в упор не вижу. Ощущение, что это я веду демонстрацию, чуть не сводит меня с ума.

И он волей-неволей идет вместе с нами.

* * *

«Свободу им-ми-грации!» – ору я что есть мочи. – «Свободу им-ми-грации!»

«По-се-ления!» «Обо-рона!» – выкрикивает кто-то другой.

«Свобода или смерть!» – ревет за мной толпа.

Весть о демонстрации мгновенно разлетается по небольшому городу. По обеим сторонам Алленби на нас смотрят прохожие, пытаюсь угадать, кто это марширует: «Хагана» или «Иргун». Йошке, мой командир в группе «Иргуна», брезгливо наблюдает с тротуара. Вдруг он узнаёт меня и машет рукой. Я делаю вид, что не замечаю его. Он продирается ко мне через толпу и кричит в самое ухо:

– Ты что, спятил? «Иргун» запретил нам участвовать в демонстрациях!

Теперь мне всё равно. Я опьянен радостью.

– Мотай ко всем чертям! – кричу я в ответ.

Он вылупил на меня глаза: сама мысль, что кто-то может не выполнить приказ «Иргуна», не приходила ему в голову. Он исчезает.

Вожак «Молодых сионистов», решившиеся пойти за мной, и те, кому «нарушение национальной дисциплины» не по душе, совещаются.

– А что мы можем сделать? – слышу я за спиной. – Он совсем рехнулся. Не хочет опустить флаг!

Вожак пытаются убедить меня прекратить это безумие. Откуда-то стало известно, что британские полицейские ждут на железнодорожных путях и готовы открыть огонь, если мы подойдем к Управлению районного комиссара, и я окажусь ответственным за любое кровопролитие. Поколебавшись, я сдаюсь. Мы заканчиваем демонстрацию у главной синагоги.

Вожак и я поднимаемся на ступени. Кто-то подставляет мне плечо, чтобы я забрался на ограду. Всё вокруг меня затихает. На меня устремлены сотни глаз. Все стараются угадать, кого я представляю: «Хагану» или «Иргун». Я понимаю, что должен что-то сказать, но понятия не имею, что. Я не могу думать в такой тишине. Тогда я вспоминаю нашу прошлогоднюю демонстрацию накануне публикации «Белой книги», когда подожгли Управление районного комиссара. Тогда кто-то заставил нас дать клятву верности Иерусалиму.

Груз сваливается с моих плеч. Я кричу: «Если забуду тебя, о Иерусалим, – да онемеев десница моя!» Толпа молчаливо ждет продолжения. Я в ужасе, потому что забыл вторую часть обета. «Да прилипнет язык мой к небу» – шепчет Срулик. Я поднимаю голову. «Да прилипнет язык мой к небу, если не буду помнить тебя!». Толпа довольна. Кто кричит «Браво!», кто свистит. Мы сворачиваем флаги и расходимся по домам.

* * *

Что-то заваривалось. Сперва стали доходить странные слухи о разногласиях в руководстве «Иргуна». И однажды всем становится известно: произошел раскол.

Имена, которых мы прежде и не слышали, или которые всегда произносили спокойно и уважительно, вдруг стали склонять во весь голос и смешивать с грязью. Юнцы, вроде меня, болтались без цели. Весь наш мир будто рухнул. До сих пор во всём была ясность и определенность: наши командиры – настоящие люди, мудрые и не ведающие страха, им точно известно, как нам завоевать землю по обе стороны Иордана за три месяца или, в крайнем

случае, за полгода. От нас требуется только одно: выполнять их приказы. И сейчас эти великие люди обвиняют друг друга во всех возможных злодействах: от убийства и доноительства до продажности.

Я очнулся, как от долгого сна. Я хочу продлить этот сон, хотя знаю, что он никогда не вернется. Сомнения, которые иногда скребли мою душу два последних года, и которые я силился прогнать, теперь овладели мной с удвоенной силой. К чему же на самом деле стремится «Иргун»? Разве мне известны все его цели? И есть ли у него вообще какая-то ясная цель, продуманный идеал, к которому он стремится?

Может быть, мы строили себе иллюзии, потому что нуждались в них, потому что нам необходимо было нечто, чему мы могли бы подчинить себя, что дало бы цель нашей жизни и нашим действиям?

* * *

Целую роту, всю седьмую роту, вызвали вечером на собрание в школе Билу.

Стражи на воротах махнули рукой на свои обязанности. Почти восемьдесят парней и сорок девушек уселись в зале: отделения двадцать пятое, двадцать шестое и двадцать седьмое «Иргуна». Когда я пришел, страсти уже кипели.

– Этот ваш Разиель – просто дрянь! – кричал светловолосый парнишка из Школы Монтефиори. – Он точно агент британской тайной службы...

– Сам ты подонок! – отрезал Йошке. – Как у тебя язык повернулся сказать такое!

– А разве не он настучал на еврейских коммунистов? Да или нет? Разве не он заложил коммуняк англичанам? Да или нет?

– А чего ты так о них разволновался? Все они – враги сионизма и русские агенты. А твой Яир¹² – тоже иностранный агент, только на этот раз не русских, а нацистов и фашистов.

– Что ты знаешь об этом, осел? Немцы захватили Францию. Ты понимаешь, что это значит? Немцы победят в этой войне! А мы можем заключить сделку с итальянцами. Они совсем не антисемиты и поддерживают идею еврейского государства.

– Ага! Авраам Штерн хочет стать великим Муссолини, разве нет?

– Ты дурак набитый! Жаботинский¹³ сказал, что готов заключить договор с самим дьяволом, если дьявол нам поможет.

– Смир-но! – командует Йорам.

Мы вскакиваем, как заводные, и становимся по стойке «смирно».

Эхуд, командир роты, принимает рапорты. Его красивое лицо кажется смущенным и печальным: таким, я думаю, должно быть лицо командира после поражения. Он говорит нам, что передал командование ротой другому человеку, которого назовет нам руководство «Национальной военной организации в Израиле». Теперь нужно пройти в соседнюю комнату, где к нам обратится один из руководителей новой организации. Мы садимся в темноте за школьные парты и перешептываемся. Вдруг из темноты зазвучал голос, самый глубокий голос, который я слышал в жизни.

– Мы последуем за нашими командирами в бой, когда они действительно поведут нас на бой...

Голос произносит речь с необычайной проникновенностью, и я ощущаю, как он медленно овладевает сидящими вокруг, гипнотически рассеивая все сомнения. Меня это почему-то раздражает. Голос заполняет комнату, и я уверен, что его слышат на улице и в соседних домах. Полное пренебрежение всеми правилами конспирации, по которым мы строили нашу жизнь последние два года. Вдруг я замечаю, что он увлек и меня. Но я беру себя

¹² Подпольная кличка Авраама Штерна, основателя отколовшейся фракции, известной как «Лехи».

¹³ Зеев (Владимир) Жаботинский – лидер ревизионистского направления в сионизме, один из основателей «Иргуна».

в руки и всеми силами стараюсь противостоять гипнозу, анализирую фразы, пытаюсь отделить демагогию от разумных доводов.

– Вы – те немногие избранные, на чьей крови будет воздвигнуто новое государство...

Впервые в моей голове возникают конкретные вопросы. Государство? Что за государство? Каким оно будет? Как оно будет управляться? Будет ли оно держаться на насилии или на правосудии? Есть ли, в самом деле, у «Иргуна» ясное представление о будущем обществе?

– И если старый сионизм станет у нас на пути, мы сметем его со сцены...

«Иргун» уже действует вопреки приказам Старика. И разве он не отверг его идеи, положив в основу узколобый национализм в сочетании с поверхностной религиозностью? Разве не ограничен он местечковыми представлениями еврейского гетто? Есть ли у него какие-то новые идеи, за которыми последуют массы? Как можно вести борьбу за свободу, не предлагая массам новых идей?

– Железным кулаком мы сломим сопротивление арабов...

Быть может, нам удастся построить государство, несмотря на сопротивление арабов. А что потом? Как сможем мы жить среди моря арабов, полных ненависти? Хотим ли мы вести бесконечную войну? Хотим ли мы вечно зависеть от иностранной помощи? Сегодня от итальянцев, завтра – от русских или американцев, а послезавтра, возможно, от новой Лиги наций? Разве не в том наша задача, чтобы привлечь массы в арабском мире на свою сторону? Разве не в том, чтобы породить новые идеи, нарисовать картину мира, которая будет включать и арабов? Чтобы возникла не еще одна страна-гетто, высокомерно презирающая соседей, а страна, которая сможет вдохнуть новую жизнь в окружающий нас регион?

Глубокий голос не давал ответа ни на один из этих вопросов. У него свои слова, которые он произносит с нажимом: государство, освобождение, царство, Сион, артиллерия, подводные лодки. Я различаю в полутьме, каким огнем загорелись глаза моих товарищей, как напряглись их мускулы.

Оратор тоже ощущает в темноте, что завоевал их сердца. И он заканчивает речь ловким трюком: «...пусть любой из вас, кто боится пойти вместе с нами по пути жертв и страданий, встанет и уйдет».

Никто не встал. Все были охвачены гипнозом. Но даже если бы ум их был ясен, никто не осмелился бы встать, чтобы не показаться трусом.

Я чувствовал, как колотится мое сердце. Я знал, что должен встать и оставить всё, что два с половиной года было целью и смыслом моей жизни. Прекрасные годы в подполье, полные риска, романтического порыва и благородной дружбы. Меня охватил страх, что мне не хватит сил встать перед лицом моих товарищей, но какая-то тайная сила вне моей власти подняла меня. Сто двадцать пар глаз смотрели на меня из мрака.

– Ты свободен, – произнес глубокий голос с безграничным презрением.

Я двинулся к двери. Не знаю, как мне удалось до нее дойти. Колени дрожали, а ноги обмякли, как ватные.

Я спустился по лестнице, прошел мимо охраны, всё еще о чем-то болтавшей, и оказался на улице.

Все чувства во мне смешались. Что-то во мне рыдало, что-то расплущилось всмятку, но появилось нечто прекрасное, важное, великое – и простое. Уголком сердца я ощущал радость, был счастлив, что это уже позади, и я победил. Иллюзии развеяны, сон кончился. Мы в них верили. Мы надеялись, что зрелые и опытные люди укажут нам путь. Но у них нет ничего, совершенно ничего, что могло бы внести в нашу жизнь новый смысл.

Правду мы должны искать сами, в нас самих. Мое сердце наполнилось радостью, потому что новая правда свежа и еще не испытана. Только мы поймем ее. Она вырвется из стен гетто и охватит весь регион. Нравственное чувство, мир и товарищеское участие – они подскажут нам путь к новой жизни.

* * *

Прошли годы. Террор. Комендантский час. Британская военная администрация. Похищения.

Все при «деле». Каждый чем-то «занят». Одни собрались в «Эцеле», другие – в «Лехи», как теперь называют военную организацию Авраама Штерна. Кто-то стал членом «Пальмаха», а кто-то – полевых частей «ХИШ».

Почти все мы готовы умереть за нечто или за кого-то. И мало у кого сохранилось то, ради чего стоит жить.

1947-ой. Резолюция ООН. Война.

Кажется, кошмар грядущей гражданской войны, десять лет висевший над молодым поколением, рассеялся. «Эцель» несет ответственность за резню в Дейр Ясине¹⁴. Но «Эцель» не намного грешней других. Достигнуто соглашение. Его батальоны вольются во вновь формируемую армию.

* * *

Утром мы получаем приказ покинуть казармы и направиться к лагерю, где расположился батальон «Эцеля». Его недавно включили в бригаду. Мы совершенно не понимаем, что творится вокруг. В лагере стоит машина с радиоустановкой и возле нее крутятся двое светловолосых. Один – командир бригады, другой – его адъютант. Разносятся самые фантастические слухи: многие бойцы «Эцеля» дезертировали, бросив позиции, из-за чего в линиях нашего фронта образовалось несколько брешей.

Примерно в километре до передовой мы догнали хвост колонны на марше и медленно поплелись за ней в новых джипах, которые мы получили лишь неделю назад. Наши автоматы заряжены и готовы к стрельбе. Колонна движется к Тель-Авиву. Оружия у них нет, бредут молча. Никто не проронил ни слова, и лишь время от времени бросают на нас ненавидящие взгляды.

На перекресте дорог мы останавливаемся и занимаем позицию. Колонна тоже останавливается: ее авангард уперся в какое-то наше подразделение.

Стоим так несколько часов. Они – без оружия, окруженные, полные ненависти. Мы – неуверенные, не знающие, какие приказы мы получим. Открыть огонь? Как поступит каждый из нас в таком случае?

После полудня мы отходим. С «Эцелем» договорились, что они вернутся в лагерь как пленные. Мы облегченно вздохнули.

* * *

Все обалдели от споров. Мелем языками с утра до вечера, потому что больше совершенно нечем заняться. Иногда нас посылают патрулировать вокруг лагеря «Эцеля». Мы спорим, спорим, спорим без конца.

Тель-авивские ветераны ХИШа в нашей роте ненавидят «эцелей» до колик. Несколько лет они вели с ними нескончаемую борьбу. Брали их в заложники и сами оказывались в заложниках, избивали их и подвергались побоям, пытали и подвергались пыткам. Они завидуют людям из «Пальмаха», которых послали в Тель-Авив. Доходят слухи, что бои там идут на самом пляже настоящим оружием.

– Перестрелял бы их, как собак, – говорит Кебаб.

¹⁴ Дейр Ясин – арабская деревня к западу от Иерусалима, в ходе захвата которой 9 апреля 1948 года было убито более ста человек.

Когда он был в «Хагане», ему случалось вступать в стычки с мятежниками. Не раз он хвастал новыми пытками, которые сам изобрел.

– Ты говоришь, что мог бы убивать евреев? – спрашивает заметно разозленный Нахше.

– Евреи или не евреи – какая мне разница. Они всё время вредят. Пора покончить с ними раз и навсегда.

Убить – и дело с концом. Решение всех проблем. Привыкнув к мысли об убийстве за родину, теряешь представление о пределе. Начинается с убийства арабов – «врагов», «дикарей пустыни», «злодеев», «бандитов», «зверья» – и уже не понимаешь, почему нельзя убить еврея, наносящего вред родине. А потом ты уже готов убить всякого, кто не согласен с тобой.

Но если можно убивать, то почему нельзя насилловать? Ведь изнасилование не так ужасно, как убийство. А если можно попользоваться арабками в захваченной деревне, почему бы не взять там, что плохо лежит? А если можно красть у арабов, то почему только у арабов?

* * *

Солнце садится. Пора отправляться на патрулирование вокруг лагеря.

Два «эцеля» стоят у забора. С виду – недавние иммигранты. «Хайль Гитлер!» – кричит нам один из них. «Гестапо!» – кричит другой. Оба вскидывают руку в фашистском салюте, будто мы охранники из СС. Я вспомнил, что не так давно мы сами таким же образом приветствовали солдат британской бригады.

– А пошли вы!.. – горланит Кебаб, стараясь выбраться из джипа. – Сейчас всех вас прибьем!

Мы едва его удерживаем.

* * *

Холодная ночь.. Мы жалко зябнем в летних гимнастерках. Разъезжать в джипе нам еще непривычно. По маршруту у нас несколько кафе, оставшихся с британских времен. Услышали, что в одном из них бордель, и Кебаба охватил сладостный зуд. До этого ему хотелось только раздолбать сукиных «эцелей», но тут все его мысли об «эцелях» разом вылетели из головы, и он только и говорил, что надо там сделать остановку и разведать. Мы вышли, захватив автоматы – на всякий случай.

Когда-то здесь было второсортная кафешка, от которой осталось несколько шатких столиков и рахитичных стульев. На стене всё еще висела доска для дорогих сердцу англичанина дротиков, но сами дротики испарились. Старый граммофон в углу. Я попытался его оживить, но выжал лишь действующий на нервы треск.

* * *

На следующее утро меня послали сопровождать офицера «Эцеля» в город на его машине. Он у них ответственный за питание. Войдя в штаб их батальона, я не поверил своим глазам. За столом сидел Йошке, тот самый, с которым я восемь лет назад был в одной ячейке в «Эцеле».

– Что ты здесь делаешь? – спросил он.

– Yob tvoyu mat, а ты?

– Никогда не думал, что ты окажешься в «Хагане».

– А я не знал, что ты до сих пор в «Эцеле».

– Будешь командовать мной этой дурой? – раздраженно спросил он, взглянув на мою винтовку.

– Нет, не буду.

Я передал винтовку одному из товарищей.

Мы встали. На входе нас остановил какой-то человек и о чем-то тихо поговорил с Йошке, а потом обратился ко мне:

– Это командир батальона в «Эцеле». Ты сможешь ему выбраться отсюда?

Я ищу предлог, чтобы отказаться. Часовые «Пальмаха» у ворот проверят наши документы. Но сейчас мне наплевать. Йошке ведет машину. Мы о чем-то треплемся, но мне не по себе, и Йошке эта беседа, кажется, тоже не очень приятна.

– Значит, ты стал офицером? – спрашиваю я.

– Если бы остался с нами, тоже мог бы стать командиром батальона. – Он хочет всё свести к шутке. – И тогда нас сторожил бы кто-то другой.

Вдруг он срывается.

– Ты понятия не имеешь, что тут творилось вчера! Позапрошлой ночью «пальмаховцы» штурмовали наши казармы. Мы не могли понять, что им надо. Они просто стали палить отовсюду. Один из наших попытался прорваться через колючку на машине. Двоих ваших расстреляли. Приказала какая-то девчонка.

– В «Эцеле» тоже были девушки, которые приказывали убивать англичан. Не забыл еще?

– А это тут причем? – изумленно ответил он. – Они были англичанами, а она приказала расстрелять двух евреев.

Я не нашел, что ему ответить, и промолчал.

– А, кроме того, они крали машины, мотоциклы, часы, даже авторучки. Они хуже англичан.

– Может быть, – неуверенно согласился я. – Никогда об этом не думал.

Я знал, что кое-кто из наших вернулся из батальона «Эцеля» не с пустыми руками. Один прикатил на мопеде, а мы с Джамусом притащили отличное кресло для нашей комнаты культуры. И на миг не задумались после того, как много месяцев отбирали у арабов, что попадалось под руку.

– Что ты обо всем этом думаешь? – спросил Йошке.

– Сказать тебе правду? Ваш Бегин¹⁵ мне не по нутру. Не люблю людей, которые вечно долбят о войне и победах, а когда приходит война, всю грязную работу сваливают на других.

– А твой Бен-Гурион?

– По-честному, один стоит другого. Дрались бы они лучше между собой.

* * *

Вернувшись, я заметил, что одного из наших нет.

– Где Нахше?

Тарзан уставился на меня.

– Ты что, не знаешь?

– Нет, я был в Тель-Авиве. А что?

Тарзан поднял глаза к синему небу, будто разглядывал там что-то интересное.

– В вечерней газете. Его брата убили в Кфар-Виткине.¹⁶

– Разве он был в «Эцеле»?

– Да. Двинул туда, когда началась война, скорей по случаю, чем по убеждению.

Я отошел и сел в джип. Хотелось плакать.

¹⁵ Командир «Эцеля». Впоследствии долгое время глава оппозиции в израильском Кнессете, а затем – премьер-министр.

¹⁶ Еврейская деревня к северу от Тель-Авива.

Село и коровы

Мой желудок всё хуже и хуже. Тошнит, но вырвать нечем.

Восемь дней как я перестал есть и пить, и от накопившегося желудочного сока постоянно мутит. Днем вводят узкую трубку, чтобы откачать жидкость, а на ночь врачи ее вынимают. Мой желудок должен привыкнуть действовать самостоятельно, но почему-то не хочет привыкать.

Стараюсь терпеть и не доставлять никому хлопот. Трубка меня пугает, но больше всего я боюсь крика больного на соседней койке, когда сестра войдет в палату.

– Сес-трич-ка!

Не могу больше этого вынести. Желудок выворачивает как с перепоя или при морской болезни. Если бы мне только выблевать!

В палату зашла Рахель с красными от усталости глазами. Она подошла к соседней кровати. Раненый глядит на нас пустыми глазами. Может быть, он уснул? Или его рассудок устремился в неведомые нам миры?

– Пожалуйста, – прошу я ее. – Мне очень плохо. Поставьте трубку.

– Хватит тебе придуриваться, – отвечает она со смехом. – Просто у тебя бессонница, и тебе завидно, что доктор может спокойно спать.

– Ну, будь хорошей девочкой, – вымучиваю я улыбку, преодолевая боль. – Когда я выйду отсюда, как я тебя расцелую!

– Честное слово?

– Честное слово!

Смеясь, она идет за врачом. Она мне нравится, потому что подтрунивает надо мной, будто я здоров и только притворяюсь больным.

Прибегает доктор Карни в полосатой пижаме под синим халатом, с трубкой и тазиком в руке.

– Тебе нужна трубка?

– Да.

– Первый случай в моей практике, когда большой просит, чтобы ему вогнали трубку в нос, – усмехнулся он.

Насмешка меня не переубедила. Уж лучше минута ужаса, чем много часов боли.

– Обычно нам приходится удерживать больных силой, чтобы ввести трубку, – замечает Рахель.

Доктор Карни коротышка. Он, кажется, нервничает. Он единственный доктор, чьим словам я верю. И больным, и их родственникам он говорит правду. По словам сестры, он сказал моим родителям, что моя жизнь в опасности, пока кишечник не заработает нормально. Я ненавижу докторов, которые постоянно говорят больным, что они поправляются, оставляя их в неопределенности.

Он вводит трубку мне в нос. Этой минуты я боюсь больше всего. Ощущение такое, будто я задыхаюсь. Я перекатываюсь с боку на бок, разевая рот, и кричу, как повешенный.

– Пей! – приказывает Рахель и дает мне стакан.

Я делаю глоток и чувствую, как трубка проскальзывает в желудок. Уже легче.

Доктор Карни подключает трубку к аппарату с какими-то сосудами. Это сложный насос, который автоматически опорожняет мой желудок. Одна его часть создает необходимый вакуум, а другая – откачивает из моего желудка соки. Я вижу, как зеленоватая жидкость поднимается и смешивается с чистой водой.

– Сейчас лучше? – спрашивает доктор.

– Да, спасибо.

Доктора и медсестер благодарят нечасто. Они причиняют боль, и пациенты противятся ей, даже если понимают, что это для их же блага.

– Ну, теперь ты стал совсем слоном, – говорит Рахель. – Смотри, какой чудный хобот у тебя вырос!

– Можно вас, доктор, – обращаюсь я, когда он собирается уйти. – Когда, вы считаете, я снова смогу есть?

– По-всякому может обернуться. – Вижу, что он задумался. – У вас хорошо продвигается. В самом деле, хорошо. И если не будет, да, если не будет осложнений, вы сможете принимать легкую пищу, может быть, через неделю или две.

– А через три месяца получишь жареного цыпленка, – вставляет Рахель.

– И кружку холодного пива, – мечтательно добавляю я.

– И картофельный салат с майонезом.

– Не дразните аппетит, – улыбается доктор и выключает верхний свет.

Я смотрю на лампу и мысленно составляю меню своего первого обеда, который я закажу, когда вернусь в Тель-Авив. На первое – куриный бульон с лапшой. Нет, для начала картофельный салат с рубленой печенкой. А бульон потом. На второе – жареный цыпленок. Целую птицу с коричневой корочкой на боках. Как у того цыпленка...

* * *

Тот цыпленок...

Его жарили на примусе, а на полу лежали еще четыре забитые птицы. Кухней заведовал Санчо, весь в крови и налипших перьях.

Этот день нужно было отметить. Во-первых, потому что мы взяли ту деревню без боя. Двадцать винтовочных пуль, две гранаты – и все дела. После страшной бойни в Латруне нам для поднятия духа нужна была легкая победа. Лишь двенадцать часов назад, забираясь в эти проклятые БТРы – гробы на колесах – мы ждали яростного боя с тяжелыми потерями. Разведка докладывала, что возможно ожесточенное сопротивление. Эта разведка... Из-за нее собрали четыре роты для проведения «крупной операции».

Была у нас и другая причина для праздника. Это был первый день Государства Израиль. Мы услышали эту новость накануне вечером, когда сидели на лужайке в Хульде – молодые парни, единственной целью которых в последние месяцы была борьба за это государство. Они, вероятно, понимали, что декларация ничего в реальном положении не изменит. Государство фактически было основано в день, когда мы отправились в первый бой. Схватки между политиками, которые, если верить слухам, до последнего дня спорили, нужно ли объявлять о создании государства или нет, потеряли смысл. В конце концов, наше будущее решат не политические декларации, а факты, которые создаем мы, солдаты.

– Говорят, что сегодня ночью напали египтяне, – сообщил Цуцик, вернувшийся из «разведывательного дозора».

– Значит, начнется настоящая война, – сделал вывод Нахше. – Но мы их скоро уложим на обе лопатки.

– Так сразу и уложим? – спросил Санчо. – Смотри, как расхрабрился!. Может выйти, как в Латруне. Или гораздо хуже. Артиллерия, самолеты и всё прочее.

– Что ты об этом знаешь? – напускает важности Цуцик. – У нас есть всё, что нам нужно. Американские самолеты, британская артиллерия, русские катюши и даже парашютисты. Мой дядя большая шишка в «Хагане». Он мне сказал, что единственная причина, почему мы их до сих пор не использовали, это чтобы не открыться арабам. А теперь ты сам увидишь!

– Свистёж! – Санчо делает непристойный жест рукой. – Сказки. Они там наверху ни хрена не подготовили. Не верили даже, что начнется война. Думали, что всё им поднесут на серебряном подносе.

– А мы, герои, будем спасать отчизну, – ворчит Цуцик, сразу сменив тон.

– Разве у нас есть выбор? Когда старики заваривают кашу, юные становятся героями и жертвуют жизнью в бою.

Отрубив курам головы, Санчо ударился в философию.

– Как ты думаешь, война будет длинной? – спросил Цуцик, уставившись на Санчо задумчивым взглядом, как на главнокомандующего.

Главнокомандующий перевернул цыпленка, поскреб левое ухо и еще больше посерьезнел.

– Кто знает? Может быть, нам не удастся захватить Каир и Багдад, а они не возьмут Тель-Авив. Тогда война будет тянуться очень долго, пока... Пока не наступит мир.

Мы все хохочем, но я понимаю, что он имеет в виду. Ни нам, ни арабам не удастся одержать победу, при которой будет полностью сокрушена другая сторона. И эта война будет идти с интервалами, пока мы все не умрем. Или пока русские или американцы не захватят весь регион.

– Муть, – заявляет Санчо. – Он разочарован, потому что мы не воспринимаем его серьезно. – Идите, рубайте и заткнитесь.

Мы садимся в круг в отвратной комнатке и поглощаем цыплят.

– Знаете что? – размышляю я вслух. – Сейчас мы едим цыплят. Потом арабы нас убьют и похоронят. Наши трупы станут туком для земли. Куры склюют зерно, и новые батальоны придут сюда закусывать цыплятами.

– Ну, тебя! – отмахивается Санчо, впиваясь зубами в мясистую куриную ножку. – Расскажи что-нибудь веселое.

– Надо, чтобы кто-то кончил обедать и сменил Джокера, – напоминает Санчо.

В конце концов, мы все на службе, а наш дом – последний в деревне и выходит на дорогу в Рамле. Там у нас хилый блокпост с одним часовым.

– Совсем забыл тебе сказать, – визжит Цуцик, – ты представить себе не можешь, что там в деревне творится. Мы здесь одни несем службу. А другие роты шерстят дома. Рота Шейке нашла там дом врача. Просто сказка! Конфисковали два пианино, картины маслом, кресла, авторучки. Всё, что хочешь. Вот это богатая деревня!

– Черт бы взял нашего китайца, – рычит Кебаб. – «Китаец» – это наш комроты с восточным лицом. – Всегда придумывает нам самые дурацкие задания. Вечно торчим здесь на дежурстве, когда другие развлекаются.

* * *

После обеда пришла моя очередь прогуляться в эту деревню. Я сел на велосипед, который мы нашли утром. Мы нашли уйму велосипедов. Потому что это на самом деле не деревня, а пригород, жители которого работали в Рамле и в Лоде.¹⁷

Повсюду солдаты. Развалились в креслах, щеголяя невероятными головными уборами, кинжалами и мечами. Другие наши товарищи гордо демонстрируют часы и авторучки.

У дома врача расселась рота Яшке, любуясь своими богатствами. Парни обсуждают цену трофейных пианино. Одно пришлось уступить батальонной комнате культуры, а второе решили продать. Толстый Шмуль окликает меня. В последний раз я видел его в Латруне, когда он пытался спасти раненого – тащил его на спине. Услышав свист снаряда, он бросил его на землю и сам упал рядом с ним. После разрыва он встал, а раненый погиб: от него остались только странные пятна на земле.

Сейчас Шмуль сияет.

¹⁷ Небольшой арабский город, где находится важный железнодорожный узел на пути в Иерусалим.

– Ты слышал новость? – кричит он во всё горло, завидев меня. – Наш Бенджаминчик нашел дыру в одном доме, а там – ржавая коробка. Два часа над ней трудился, пока не открыл. И знаешь, что там было?

– Нет.

– Целая куча милов¹⁸, – расхохотался Шмуль. – И еще пять грушей. Наверно копилка какого-то мальчишки.

Все хохочут.

Возвращаясь на позицию, я заметил дом, стоявший чуть в стороне, у которого не были выломаны двери. Я прислонил велосипед к дереву и побежал туда. Передняя деревянная дверь крепкая и надежно закрыта. Двинул ее прикладом: бестолку. Где-то должна быть другая дверь. Обхожу дом. Так и есть, но тоже заперта.

Теперь у меня не осталось сомнений, что в доме есть сокровища. Зачем бы тогда хозяин стал с таким тщанием его закрывать, когда по деревне уже свистели пули? Я должен туда войти. А как? Через окно. Но окно забито досками. Я вернулся к двери, выстрелил по замку, но и это не помогло.

В отчаянии я снова обошел дом и, наконец, заметил окошко. Высоковато, но на нем только одна дощечка. Несколько ударов прикладом, и окно раскрылось. Я подтянулся, не удержался и ссадил колено. Влез туда со второй попытки.

Бедно обставленные комнаты. Большой зеркальный шкаф, табуретка. Шкаф открыт. На полу одежда и бумага, будто араб что-то спешно искал, прежде чем сбежать. Я заглянул в выдвижные ящики и в шкаф. Ничего особенного. Набор молевых четок, кинжал, шнур-агал для головного платка-куфии. Я ищу куфию. Что за наглость у этих арабов: оставить в доме один шнурок без платка! Со злости я разбил зеркало.

Среди бумаг – удостоверения личности времен британского мандата. Ага! Любопытно, кого это я сейчас граблю?

Имя: Атталла Абдалла Абу Салем.

Рад с вами познакомится!

Место жительства: Чудад. Лучшая арабская деревня, которая мне встретилась с начала войны.

Род деятельности: Рабочий.

Хм-м-м... Чем же ты занимался? Судя по виду комнаты, много ты не зашибал. Горбатил где-нибудь на железной дороге в Лоде и катил туда на велике каждый день. А дочка провожала тебя до дороги и махала ручкой. Вечером ты, наверно, привозил ей из Лода какие-нибудь сласти. Такие яркие безвкусные конфетки, которые ей очень нравились.

Раса: Арабская.

Вот это уже вздор. Нет никакой арабской расы. Как нет и никакой еврейской. Ты – левантская смесь. Твой дальний предок был, вероятно, ханаанским крестьянином. Его дочерей увезли совершившие набег евреи, а их праправнук служил царям Давиду и Соломону. Потом пришли сюда греческие солдаты и римляне. Они оставили свой след в твоих жилах. А когда Халид выиграл сражение под Ярмуком¹⁹, пришли арабы и передали твоим предкам свою религию и свой язык и взяли в жены их дочерей. Вот с тех пор ты и стал арабом. А если ты араб, мы должны тебя преследовать, а, если понадобится, и убить. Тебя, твою жену и твоих детей. Понятно? Таков закон природы. Были ли твои и мои предки братьями и сестрами? Вышли ли они из одного и того же семейства израэлитов? А, быть может, мои пращуров вовсе не были израэлитами. Возможно, они пришли из Тира²⁰ или Карфагена и приняли иудейскую веру лишь после римского завоевания. Но всё это сейчас не важно. Главное, что ты араб, а я –

¹⁸ Мил, или груш – денежная единица в Палестине, а затем в Израиле. В одном фунте, или лире, было сто пиастров (грушей) или 1000 милов.

¹⁹ Битва при Ярмуке – решающее сражение в борьбе за Палестину между мусульманами и византийскими армиями 20 августа 636 года. Ярмук – приток реки Иордан.

²⁰ Тир – древний город в современном Ливане.

израильтянин и мы обязаны как можно скорее прикончить друг друга. В этом суть, а прочее – муть.

Рост: 5 футов 9 дюймов. Цвет глаз: темно-карие. Цвет волос: темно-коричневый. Телосложение: обычное. Шрамы или особые приметы: шрамы на обоих висках.

А вот еще один твой снимок. На нем ты с усами: можно сказать, красивый парень. Высокий, крепкий, широкоплечий. Судя по шрамам на висках, не бежал, поджав хвост, от честной драки. И своей жене ты глянулся, когда выкупил ее у ее отца.

Не смотри на меня так, Аттала. Это не моя вина. Я не хотел этой войны. Честное слово, не хотел. Я знаю, что красть грешно. Это сказано в Библии. Не сомневаюсь, что и в Коране тоже.

Перед каждым сражением мы мечтаем о трофеях. А может быть и о девушках, которых мы найдем. Это говорит в нас первобытный инстинкт. В спокойное время он дремлет и не показывается. Но во времена войн или революций он вырывается и властвует над нами. Точно так же, как над нашими пращурами пять тысяч лет назад.

В истории полно таких примеров. Все великие военачальники знали, как вдохновить свои армии. «Солдаты! – обратился Наполеон к голодному войску. – За этими холмами ждет вас изобильная земля. Еда, питье, одежда – всё будет ваше, когда вы достигните места, в которое я вас веду».

Ну, хватит об этом. Против тебя я ничего не имею. Честное слово, не имею. Я совсем не против того, чтобы ты жил здесь, как прежде, а я стал твоим соседом. И было бы чудесно, если бы мой сын полюбил твою дочку и женился на ней. Нет, этого не случится, потому что твоя дочь будет гораздо старше моего сына. Он еще не родился. Но всё равно, я желаю тебе удачи, и чтобы твоя дочь не голодала.

А вот и велосипед. Как здорово катить на двух колесах! К черту пехоту! Да здравствуют колеса! Колеса, колеса, колеса...

* * *

Колеса. Джипы. Четыре джипа во время первого перемирия. Патруль в Вади Ниснас. Задача довольно деликатная. Мы едем по ничьей земле. Если мы заметим ооновского наблюдателя, ему придется исчезнуть. За политические осложнения отвечают политики. Так почему бы и им не послужить своей родине? Придумают какую-нибудь отмазку. Их работа полегче нашей. И безопаснее.

Мы должны атаковать три деревни на противоположном холме. С максимального расстояния. Цель у нас двойная: выявить их позиции и разведать их силы. И дать понять простым крестьянам, что им лучше убраться куда подальше, пока снова не начались бои. Почти гуманитарная миссия. Потому что, если они останутся, мы должны будем их всех перебить, как только возьмем их деревни. И большой радости ни им, ни их дочерям это не доставит. Нужно сказать, к их чести, что они очень быстро поняли наш толстый намек. После того, как мы осыпали их пулями, там почти никого не осталось.

Дорога – сплошная пыль. Нигде во всей стране нет больше такой белой пыли: через пять минут вид, будто вывалялся в муке. Пыль лезет в глаза, ручьем текут слезы, и вообще перестаешь что-то видеть. Ну, кто на хер придумал, что можно ездить в открытом джипе без консервов на глазах?

Где бы взять хоть одну пару. И наша вылазка на джипе фактически никем не санкционирована. Ее нет в штабных планах. Гениальная идея нашего комбрига. Но в штабе его не поняли, а без одобрения штаба не получишь ни джипов, ни автоматов, ни очков-консервов. Комбриг «реквизировал» джипы в своих же батальонах. Машины старые. Ждем, что мотор заглохнет как раз в пятидесяти ярдах от позиций противника. Тогда будет нам весело!

Автоматы тоже позаимствовали в разных батальонах, а значит в каждом пехотном батальоне сейчас на четыре автомата меньше. Оруженосцы будут счастливы избавиться от лишнего груза, но бедолашным солдатам придется идти в атаку без полного огневого прикрытия. И если падут на поле боя, кто мог бы и не пасть, можно будет написать на могильном камне: «Этот воин погиб как жертва формуляра снабжения».

Но с очками полная невезуха: ни одной пары в батальоне, так что и отобрать не у кого. Когда дорвемся до этих штабистов, которые очки прошляпили, прицепим их к джипу и протащим по этой дороге, чтобы дошла до них святость их формуляра.

Вот и первая деревня. Выстреливаем несколько пуль. Ответили две-три винтовки. Тут и разведывать нечего. Следующая деревня. Стреляем три раза. Никакого ответа. Труссы. Огонь! Отставить! Зевок во весь рот – такая скукожица с этим выездом.

На обратном пути первый джип вдруг рванул во всю прыть, и с него пошла стрельба. Сквозь застилавшие глаза грязные струйки мы почти ничего не видели. Какие-то люди бежали к третьей деревне. Дай мне автомат! Очередь! Еще очередь!

Первый джип сцапал пастушонка. Пуля попала ему в задницу. Совсем мальчишка: лет девять-десять. Весь дрожит от страха, но молчит. Нам стало немного стыдно. Медбрат обработал рану. Джамус попытался успокоить ребенка, а потом мы его отпустили. Он прошел несколько шагов, оглянулся нервно, будто опасаясь, что мы выстрелим ему в спину, а когда понял, что мы стрелять в него не собираемся, дал стрекача.

– Шустрый мальчик, смотри ты, как почесал с пулей в попе! – замечает медик.

– Да чего там, царапина. Разве нет? – спросил Джамус.

– Не скажи, – возразил медик. – Пуля глубоко зашла. Если ее не извлекут, и в рану попадет инфекция, произойдет заражение крови, и он отдаст концы.

– Кто станет его оперировать в этой сраной деревне? – спросил Джамус.

Медик пожал плечами.

Едем дальше. Вдруг первый джип останавливается, и мы тоже.

– Что случилось? – спрашивает Нахше. – нашли еще одного пацана, чтобы зад прострелить?

– Идиот! – заорал Кебаб – Вот где наши окуляры пасутся!

Но я ничего не вижу без очков.

– Где? – спрашиваю я, оглядываясь.

– Гляди, придурок! – показывает Кебаб на штук двадцать коров у обочины.

Это, наверно, за ними приглядывал пастушок. Я всё понял. Ну, конечно! Вот они наши очки!

– Ты знаешь, сколько стоит такая корова? – воодушевленно спрашивает Кебаб. – Кучу денег, надо только скупщика найти. Хватит и на очки, и на другие штуки.

– А где мы возьмем грузовик? – озабоченно спрашивает Нахше.

– Знаете что? – нашел выход Санчо. – Скажем, что нашли пять коров, а от остальных избавимся прямо сейчас. Отдадим батальону пять.

Все согласны. А что еще оставалось?

– Алло – Танго – Гольф – Альфа – Пять.

Батальон высылает грузовик.

А пока что нам надо согнать коров в кучу. Как им объяснишь? Очень просто: мы все посмотрелись ковбойских фильмов! Возвращение Тома Микса и Бака Джонса. Наши конями будут джипы. В конце концов, мы живем в современном мире. Окружаем стадо, подгоняем коров, которые хотят свернуть от нас налево, и вот они все вместе.

Подъезжает грузовик. Теперь начнется настоящая работа! Командует шофер. Говорит, что на гражданке часто возил коров. Джамус тоже из кибуца, строит из себя знатока и делает с важным видом замечания. Выбираем гладкую коровицу, наверно, начальницу стада. Четверо удерживают ее на месте и толкают. На корову это не производит впечатления. Осыпаем ее

тумаками, но она – ни с места. Цуцик решил тащить ее за рога, но она чуть сама не подцепила его рогом, как на корриде.

– Ослы! Вот как это делается! – объясняет Нехемия.

Он хватает и крутит коровий хвост. Наверно, скотине стало больно, и она потихоньку побрела. Ура! Первую взяли!

Вторая корова оказалась намного упрямей. Цуцик хочет показать, что он усвоил урок, хватает и крутит хвост. Но тут корова совершает вполне естественное отправление, и Цуцик с воплем мчится прочь. Мы все покатываются со смеху.

Я хватаю за хвост третье животное, но забываю крутить, и корова убегает вскачь. Я вцепился в хвост что есть сил, и она протаскивает меня по земле двадцать ярдов, пока я не натыкаюсь плечом на камень и не отпускаю ее. Тарзан гоняется за коровой на джипе, но она категорически отказывается вернуться. Бой проигран. Корова нами потеряна. Когда мы загнали трех коров на грузовик, они взбунтовались и выпрыгнули. Снова за работу. Заполнить кузов нам удалось нескоро.

– Смотри! Вот араб! – кричит Санчо.

На соседнем холме появляется араб. Он поднял руки вверх. В одной руке – белая тряпка.

– Стрельни ему над головой! – скомандовал кто-то.

Мы сделали один выстрел, но араб лишь пригнул голову и продолжал двигаться к нам. Вторая пуля тоже не остановила его. Он стал что-то кричать по-арабски, махать руками и был, кажется, очень взволнован. Кто-то из нас подошел к нему. Джамус стал переводить.

Из араба хлынул поток слов. У него упрямое и очень обиженное лицо. По виду он в крайней бедности.

– Говорит, что он феллах из той деревни, – переводит Джамус. – Это его стадо. Это всё, то у него есть.

– А кому это надо знать? – спрашивает Кебаб.

– Он говорит, что если мы заберем его стадо, он станет совсем нищим, а у него жена и четверо детей.

– У всех у них четверо детей, – ворчит Кебаб. – А чего он от нас хочет? Мы что ли ему этих детей наделали?

– Скажи ему, что израильская армия конфискует его стадо, и пускай мотает отсюда, пока не получил пулю в лоб.

Араб что-то выкрикивает, умоляет, плачет. Я разбираю только отдельные слова: «феллах», «бедный», «дети».

– Он говорит, что не сможет жить без стада, – объясняет Джамус.

– Скажи ему, что если он сейчас отсюда не уберется, то больше не увидит своих детей, – говорит Кебаб.

– Он говорит, что лучше умрет, чем будет смотреть, как его дети умирают с голоду.

Что с таким ослом делать? Всем понятно, что осталось только вышибить из него мозги. Но никому не охота за это браться. Даже самые озверелые среди нас не горят желанием.

Подъезжает военная машина, и в ней несколько пальмаховцев. Кричим им, чтобы остановились.

– Что этот вонючий араб тут у вас делает?

Они из команды, которую дислоцировали в этом районе.

Рассказываем им всю историю.

– Знаете что, – предложили они, немного посоветовавшись, – отдайте его нам. Знаем, что с ним сделать.

Мы рады избавиться от араба. Пальмаховцы забирают его в свою машину и едут к следующей деревне.

– Ну, хоть с этим разделались! Теперь за работу, – подгоняет нас Нахше.

Солнце уже садится, времени у нас в обрез и терпение на исходе. Случай с арабом не дает покоя каждому. Зверски лупим коров, и, в конце концов, восемь оказываются в кузове. Обойдемся без остальных.

– А как с батальонной кухней? – спросил Тарзан.

– Пошлем их подальше, – предлагает Санчо. – Обойдутся двумя.. Если продадим шесть на черном рынке в Тель-Авиве – хватит нам на очки.

Мы устали и хотим пить, но настроение хорошее. В лагерь не возвращаемся, а едем в соседнюю деревню, где в солдатском клубе есть холодное пиво. В город с коровами командидуем Санчо и Нехемию: Нехемию как спеца по рогатым, а Санчо – как знатока махинаций на черном рынке.

– После войны устроим ковбойскую ферму, – мечтает Цуцик.

Кебаб лопается со смеха:

– Час назад корова обосрала его с ног до головы, и он уже Бак Джонс!

– Ладно, – мирит их Джокер. – Все мы начинаем с дерьма.

– Главное, что теперь у нас будут очки, – подводит Джамус итог дискуссии.

Первое перемирие

Мне хочется пить, страшно хочется пить.

Вообще-то это не жажда, потому что жидкость, которую вливают по трубке в вену моей ноги, содержит всё, что нужно организму. Просто хочется сделать несколько глотков, даже если вторая трубка, которую пропустили мне через нос, тут же откачает жидкость обратно.

– Не глупи, – говорит голова моему телу. – Это просто твои фантазии. Зачем пить воду, которую из тебя тут же высосут?

– Фантазии или не фантазии, – отвечает мое тело голове, – кто ты такая, чтоб судить?

Разве я до сих пор не делал тысячи совершенно ненужных и бессмысленных вещей? Разве сигареты необходимы? Или вино? Разве мне не случалось, и не так уж редко, вздремнуть на посту, хотя я не был таким уж усталым. А сейчас я хочу пить и должен уступить этому капризу.

– Ну, не будь таким нытиком. Ты ведь знаешь, что тебе нельзя пить.

– Почему нельзя? С этой трубкой, которую мне вогнали в брюхо, я могу пить, сколько мне хочется. Насос тут же всё выкачает.

– Тебе нельзя пить, потому что тот на соседней койке увидит и опять завоет.

– Он уснул.

– Это только кажется. Стоит тебе шевельнуться, и он тут же откроет глаза.

– Мне нужно сделать хоть пару глотков, а то я сойду с ума.

– Ты совсем не думаешь о других. Если он увидит, что ты пьешь, жажда станет мучить его еще сильнее. Ты плохо к нему относишься. Это пытка. Тебе нельзя ничего пить!

– Плевать мне на него. Пусть идет к черту! У меня свои мучения.

– Стыдись! Говорить такие слова об умирающем...

Я пытаюсь сдержаться, но от этого жажда еще сильнее. Мне нужно сделать хоть пару глотков. Нужно, и всё!

– Тебе легко говорить. С муками совести я как-нибудь справлюсь, а вот с муками тела...

Я иду на компромисс с собой. Я стану двигать руку к стакану очень медленно. Как на ночных учениях, когда надо подползти к часовому, чтобы вонзить в него нож между шеей и плечом.

Если он проснется, моя рука замрет.

Прислушиваюсь. Он всё еще хрипит, как сломанная пила. Может быть, он, в самом деле, уснул? Очень медленно я тянусь к стакану. Осталось тридцать сантиметров. Теперь двадцать. Почти, почти...

Вдруг он зашевелил губами и открыл глаза. Не произносит ни слова, но губы его движутся. Как у рыбы на базарном прилавке. Он видит мою руку. Он не спит.

Слишком поздно для отступления. Я хватаю стакан и подношу его ко рту. Что-то пролилось на рубашку. Кому какое дело?

Делаю большущие глотки и ставлю стакан на место. В сосуде над моей головой всплывают пузырьки. Что за наслаждение ощутить холодную воду в желудке, хоть на миг.

Он смотрит на меня. Губы его еще шевелятся. Кажется, они посинели. Но, может быть, это из-за света?

Боже! Пусть он скажет хоть что-нибудь. Пусть заорет так, чтобы затряслись стены. Но пусть прекратит эти жуткие движения, пусть не смотрит на меня!

Если бы это зависело от меня, я бы дал тебе целое ведро воды и позволил умереть блаженной смертью.

Легкие шаги. В палату входит Рахель с двумя шприцами в руке.

* * *

Вот таким явится Мессия в конце времен с прелестным и румяным личиком Рахель. На нем будет белый халат с застиранными пятнами крови и гноя. От него будет слегка пахнуть хлороформом и дезинфекцией, а в руках у него будут два шприца.

– Уже час ночи? – спрашиваю я.

– Да, – отвечает она.

Уколы – это мои часы. На самых первых часах была только одна стрелка, вокруг которой вращалось солнце. На моих новых часах две стрелки: одна с пенициллином, а другая – с обезболивающим.

– Ты хорошо выспался? – спрашивает она, вводя первую иглу.

– Не сомкнул глаз.

– Не морочь мне голову. Ты спал все время: я сама видела.

– Честное слово я не спал. Я думал.

– О чем?

– О чем угодно.

– Ну, тогда перестань думать, – говорит она и делает второй укол.

Я почти не ощущаю его.

– Не уходи, – прошу я ее.

– Я всё время здесь, а ты должен спать. Если ты захочешь, ты заснешь. Просто перестань думать. Считай овец.

Овцы... Стадо...Грабеж...

– Я не хочу думать об овцах.

– Тогда считай что-то другое. Или ничего не считай. Думай про сон. Думай, что ты уже спишь. Это называют самовнушением. Используй свое воображение. Сосредоточься. Думай, что ты уже уснул, что ты маленький мальчик, а у кровати стоит твоя мама, и спи...

Я буду думать про сон. Я сплю... Я уже заснул... Я уже сплю...

* * *

Я сплю в апельсиновой роще у покинутой деревни, которая стала нашей передовой базой. Все спят и похрапывают. Все – это целая рота. Те, кто остался в ней живым и невредимым через одиннадцать дней. Знаменитая рота, «бойцы на джипах», герои.

Но они совсем не выглядят героями. Совсем не такими, какими их представляют себе в тылу. Вид у спящих крайне жалкий. Обмундирование истрепано и замарано. Кожа бледная. Впалые и обтянутые щеки, выпирающие скулы.

Я уснул в окопе. Такой же, как все: бледный, со всклокоченной бородой, провалившимися глазами, и вонючий. Этот окоп – не мой. Я еще ни разу не выкопал себе ничего путного. Терпеть не могу этой работы. А, кроме того, я ведь заговоренный: в меня снаряд не попадет. Может попасть в кого угодно, только не в меня. Я не могу умереть. Меня не могут ранить. И руку или ногу мне не оторвет. Просто невозможно, чтобы кусок грубого металла, который не стоит ни гроша и которому место на свалке, прекратил существование такого сложного организма со всеми его ощущениями, мыслями и тайнами. Это просто невозможно! Я, конечно, понимаю, что все другие думают то же самое. И все, кто оставил нас, без ног, без рук, а некоторые и без головы. И всё же я совершенно уверен...

Как я попал в этот окоп? Сам не знаю. Сказочное шестое чувство, ведомое лишь тем, кто его испытал. Поэтому их и посылают сражаться одного за другим, опять и опять одного за другим, пока последний из них не испустит дух. Кого пошлют после этого? Логика всех армий в мире: для тех, кто раз вступил в бой, бой никогда не кончится. Так чей же это окоп? Наверно, одного из наших товарищей, который вернулся позднее нас. Он увидел, что я сплю, но слишком устал, чтобы выгнать меня из своего окопа. У него не было шестого чувства. Он не ощутил, что этой ночью они придут и обстреляют нас.

Эта ночь...

Что это была за ночь! Мы опять атаковали клятый Бейт-Джамал. Во второй раз? В третий? Не могу вспомнить. Шел бой. Нет, не бой, а бойня. Здоровые молодые ребята, почти все зеленые новобранцы. Они не обращали внимания на яркую луну, не думали, что египтяне устроили засаду как раз в том месте, куда они направились.. Мало кто вернулся своими ногами. Одни так и остались там, других привезли в моем джипе. Кровоточащее мясо, размозженные лица, переломанные кости, без пальцев, без ушей. Один груз за другим. Шесть или восемь стонущих, плачущих, воющих тел – или безмолвных.

Бункер в кибуце, наш «сборный пункт» – душный, с телами раненых, уложенных чуть не друг на друга. Они ждут, терпеливые или ошеломленные, пока подойдет к ним кто-то из медиков и хотя бы даст укол обезболивающего. Раненые и не подозревают, как им повезло. Если бы они полагались на то, что их вынесут их товарищи, многие не попали бы сюда живыми...

Я сплю в окопе. Вокруг нас джипы под деревьями, кое-как замаскированные.

Сон – наше величайшее наслаждение. Наше единственное наслаждение. Мы спим, свалившись, стоя, даже на ходу. Весь наш мир окутал туман, призрачная дымка. Два-три раза в день туман вдруг рассеивается, и мы превращаемся в диких зверей. Мы раним и получаем ранения, убиваем и гибнем, становимся то охотниками, то дичью. Пока идет операция, мы бодрствуем. Но это не обычное состояние бодрствующего человека. Нервы напряжены и чувства обострены. Но как только операция кончается, сознание захлопывается, будто вдруг отпустили до предела натянутую пружину. На обратном пути мы уже спим, рухнув на руль или на пулемет. Спим и ведем машины, спим и шагаем, спим, когда валимся с ног.

Одиннадцать дней такой жизни.

Одиннадцать дней? Неужели всего двенадцать дней назад эти загнанные существа сидели в батальонной столовой, отъевшиеся и довольные, после месячного перемирия? Неужели всего двенадцать дней назад я сам сидел с Джамусом в кафе в Реховоте, поглощая клубнику со сливками и отпуская замечания о прелестях проходивших мимо девушек? Нет. Двенадцать лет назад. Или двенадцать жизней.

Это не сладкий сон забвения. Во сне я живу более осязаемо, чем перед тем, как закрыл глаза. Во снах я вижу реальный мир. Холм, дорогу. Где этот холм? Понятия не имею. Я лежу на земле, а ко мне подползает чернокожий суданец. Я вижу его лицо и хочу убежать, но не могу. Я умер? Парализован? Суданец ползет медленно, по всем правилам полевых учений. Он улыбается во весь рот. Нет, это не улыбка: это пуля разорвала его лицо от уха до уха, а дыра кажется хохочущим ртом. Я знаю этого суданца. Уже пять дней он лежит у дороги к кибуцу. Раздутый и зловонный. Один из тех, кто оборонял высоту 125. А сейчас он явился, чтобы мне отомстить. Кто сказал ему, будто это я его убил? Я знаю, что могу спастись, только если докажу, что это был не я. Но как докажешь?

Может быть, это действительно был я. Неужели я на самом деле его убил?

Может быть, то темное, что двигалось в пяти метрах передо мной, и по которому я расстрелял всю автоматную обойму – это был он? Да, именно в ту минуту наши джипы проезжали над их траншеями посередине позиций.

Еще миг, и он бросится на меня. У него в руке нож. Нож я тоже узнал: это мой нож. Тот, который я нашел в Худаде. Он приставил нож к моему горлу и сейчас перережет. Лезвие тупое, он движет им, как распиливая бревно. Взад-вперед. Взад-вперед. Отвратительный – свистящий, тархтящий, стучащий – звук.

Мир вокруг меня взрывается.

Я открываю глаза и тут же выскакиваю из окопа. Вокруг меня плотный белый туман со сладковатым запахом пороха. Я бегу к саду, не оглядываясь, полуслепой, умопомраченный. Натыкаюсь на деревья и ветки, и бегу, и слышу громкий свист, падаю на землю, вжимаясь в нее, пока она не заполняет мои уши, нос и глаза.

Еще разрыв, от которого взметнулась земля, и вздрогнул воздух, закрыв деревья густым дымом.

– Медика! Медика!

Чей-то крик. Потом другой. Двое ранены. Один из них – Нехемия, наш водитель. Кто же другой? Кто-то бежит. Кто-то извергает проклятия.

Рев в воздухе нарастает. Самолет идет в пике. Мгновенье тишины, будто весь мир затаил дыхание. Потом застучали автоматы. Свист пуль, треск веток, крики, шуршание листы. Пикирует второй самолет. Воздух содрогается. Земля вздыхает, стонет, обнимает меня в ужасе, вбирает в себя...

Самолет улетел. Я бегу назад к сборному пункту. Бойцы поднимаются с земли. Один за другим. Бледные, с позеленевшими лицами. Они все спали, когда их разбудила первая бомба. Нехемию разбудил ударивший в живот кусок шрапнели. Эли тоже проснулся, когда осколок размозжил ему лицо. С изуродованного лица смотрят на нас его синие глаза, будто он всё еще не может поверить, что ранен. Задело еще двоих. Это водители, которых прислали нам только вчера на замену выбывших. Мы даже не узнали их имен.

Инстинктивно я собираю свои вещи. Нужно отсюда выбраться. На другой край деревни, пока самолет не вернулся. Мой перевернутый и раскрытый вещмешок валяется под деревом. Всё разбросано по земле: чистое полотенце, которым я так и не воспользовался после лагеря, торбочка с мыльницей и мылом, которую я так и не развязал, замусоленная книжка в бумажной обложке, огрызок карандаша. Я давно потерял свой котелок. Вся рота ест с трех-четырех металлических подносов, которые пускают по кругу. Моя стальная каска, винтовка и аптечка с бинтами остались в джипе. Я готов к выходу.

– Всё, – бормочет Цуцик. – Хватит с меня. Я дошел!

Мы уже взвалили на себя всё, что могли, и доходим.

* * *

Пока что совсем выбился из сил только один из нас.

На такого надо посмотреть. С первого взгляда ясно, что с него хватит. Он движется по-особому. Вздрагивает, услышав дальний взрыв, оглядывается, как затравленный зверь. Сколько он протянет уже можно предсказать почти точно, по дням. Еще два дня, еще день. И всё, точка. Его час пришел – кризис. Некоторые в этом признаются. Они самые жалкие. Просят отпустить их с передовой на какую-то службу в батальоне или даже в армейский штаб.

– До сих пор у меня было нормально, – хнычут они. – Я ходил во все атаки. Всегда делал, что надо. Теперь больше не могу. Ты понимаешь, не могу больше. Если я пойду еще раз, я отдам концы. Я знаю, что погибну.

На него смотрят сочувственно, как на сбитую машиной собаку.

Иногда это чистая правда. Ветеран, вчера еще он поднимался во все атаки, а сейчас просто выдохся.

Но большинство из тех, кто дошел, не хотят в этом признаться. Выдумывают всякие надоевшие и неубедительные отговорки. У одного разболелись зубы, другой вспомнил, что он – единственный ребенок в семье, у третьего сковало ногу. Никто им, конечно, не верит, и они знают, что никто им не верит. Они приводят нас в бешенство, потому что с каждым слинявшим растет твой шанс быть убитым.

– Это можно рассчитать математически, – сделал открытие Джамус. – Если в отделении двенадцать человек, и каждый день кто-то выбывает из строя, то в течение двенадцати дней ты будешь ранен или убит. А если в отделении девять человек, и потери происходят с той же регулярностью, то в течение девяти дней ты будешь убит или ранен.

Всё очень просто. Каждый, покидающий нас, увеличивает опасность для других. Потому что те же задачи приходится выполнять меньшим числом. Рота должна выполнить то,

что ей приказано, и не важно, сколько человек в ней осталось. Если большинство бойцов в роте выбьют, и останется только пара отделений, рота всё равно должна будет действовать как рота с полным составом и в наступлении, и обороне.

Даже Джамус понимает, что тех, кто дошел до ручки, нужно отправлять домой. Их присутствие опаснее их отсутствия. Трус вас не спасет и оставит раненым на поле боя. Перепуганный водитель угробит свой джип в канаве, когда над его головой просвистит первый снаряд.

Я только раз видел совершенно сломленного человека. Им был Йешайяху. Славный парень из новых иммигрантов. Это случилось во время артиллерийского обстрела. В его траншею попал снаряд, но траншея шла зигзагом, и шрапнель его не задела. Его лицо стало серо-зеленым, он онемел и оглох. Всё тело тряслось. И так несколько часов.

Мы все уверены, что в нас не попадет, даже если болтаем о смерти по шестнадцать часов в день. Без такой уверенности мы не пошли бы в бой. Страх, как перед первым боем, охватывает нечасто. Если не случится что-то необычное. Как в ту ночь, когда мы вдруг обнаружили, что оказались посреди египетских позиций у Бейт-Джамала. Или когда на нас круто спикировал самолет. Страх кошмарен. От него выворачивает нутро и трясет тело. Ты готов бросить товарища на произвол судьбы, чтобы спасти свою шкуру. Страх оглушает и парализует волю, когда она нужнее всего, потому что лишь быстрота реакции может спасти жизнь.

* * *

Теперь я вижу, что дошли мы все. В общем, мы уже и не подразделение, а какая-то ободранная группа. За одиннадцать дней осталась половина. Кто-то убит, кто-то ранен, а другие почувствовали, что с них хватит, и растворились.

Мы лежим под деревьями, и делать нам собственно нечего. Жарко и липко. На деревьях масса листьев, но тени они не дают. Я стаскиваю с себя гимнастерку. Она грязная и потная. Я ношу ее, не снимая, уже двенадцать дней.

– Эй ты, бздун, надень гимнастерку! – гаркает командир отделения Муса, разлегшийся под соседним деревом.

– В чем дело? – спрашиваю я.

– Хочешь, чтоб нас всех поубивали?

Моя майка была когда-то белой. Теперь не хватает воображения, чтобы представить ее цвет. Но с неба она заметна, и если летчик ее увидит... Содрогнулся я не от этой мысли, а от противного вида гимнастерки. Жара хуже смерти.

– Да не лаясь с этим ублюдком, – подает голос лежащий рядом Джамус, едва шевеля губами.

Его полузакрытые глаза устремлены в небо, лицо обезобразила дикая борода, а усы, когда-то бывшие гордостью роты, сейчас торчат как пыльный сорняк. У меня нет сил лаяться, и я укрываюсь потной гимнастеркой, как простыней.

Никто не спит. Просто лежим оцепенело на твердой земле. Леню даже отбросить острые камешки под спиной. То один, то другой поднимает голову, прислушивается и опускает обратно. Движение механическое: ему почудился самолет вдали. Что-то таится в воздухе. Никто об этом не говорит, но засело в мыслях у каждого. Тупая мысль едва пробивается к краю сознания.

Перемирие!

Этим вечером в семь часов должно наступить перемирие. Мысленно, по буквам, мы складываем это слово. В нем столько значения, что никто не осмеливается произнести его даже про себя.

Перемирие – это безопасность. Это жизнь. Это целые руки и ноги. Это возможность оставаться человеком, хотя бы несколько дней. Перемирие – это рай. Нужно запретить себе думать о нем, чтобы не сойти с ума и не утратить всех чувств. Иначе мы станем орать и выть, кататься по земле, стоять на головах – и рыдать.

Мы все втайне верим, что перемирие возможно. Мы хотим в это верить! Наивная детская вера. Она крепка, по крайней мере, если мы скрываем ее друг от друга (и от самих себя). Потому что, если мы заговорим о ней, она нам отомстит, и перемирия не будет.

В духов мы не просто верим: мы знаем точно, что они есть. Нас всегда окружают духи: одни оберегают нас, другие – преследуют. Есть добрые духи, которые охраняют нас от пуль. Селятся они чаще всего в касках и в гражданских шапках, а иногда в осколках и пустых патронах. Но есть злые духи, которые пишут свои имена на пулях.

– Каждая пуля знает свою цель, – сказал нам разведчик Дуду перед первым боем. – Она определена ей еще на заводе. Поэтому не нужно бояться. Хоть беги, хоть ползи, а пуля тебя найдет. Она никогда не пропустит своей цели.

Я видел этих чертенят на заводе боеприпасов. Какая разница, где он находился: в Англии, Германии или в Чехословакии. Я видел, как монотонно двигались руки рабочих. Им было всё равно, кому предназначены их пули: грекам, китайцам или евреям. Им совершенно незачем это знать. Они думают о ночи со своей девушкой, о зарплате, о подарках детям. А чертенята кишат повсюду, и у каждого в лапке бирка с именем. Одна – красными чернилами: «Иегуда Карми, Тель-Авив». Он и получит эту пулю в голову или в живот и погибнет. А вот другая – зелеными: «Моше Дрор – Кфар-Саба». Он будет ранен в бедро, и всего лишь потеряет ногу. Может быть, Моше сейчас забавляется с девушкой на тель-авивском пляже, скачет вокруг и обливает ее водой. Он не знает, что его имя уже выведено на пуле, и что девушка увидит его в следующий раз на костылях. И отвернется, будто не узнала.

Разведчик Дуду всё это знал. Знал во всех мелочах, как действуют чертенята. Но не ведал лишь одного: что в Рамаллу уже привезли ящик с патронами, и в одном из патронов пуля с его именем: «Давид Циони, Реховот, двадцать восемь лет, в левый глаз». Нельзя беспокоить этих чертенят. Особенно в день, когда может начаться перемирие.

Впрочем, для нас это уже не имеет значения, потому что ясно одно: будет перемирие или нет, мы уже дошли. Если бы никто не сказал о перемирии, мы, может быть, еще протянули бы еще четыре-пять дней. Четыре или пять полных дней – этот двенадцать или пятнадцать атак. Но когда пошли слухи о перемирии, мы стали втайне надеяться, что переживем эту неделю. И не вернемся в этот ад. Разочарование разнесло бы нас на куски.

* * *

В Ла-Валетте
девчушка пятнадцати лет
продает свое тело
и стонет под матросом.

* * *

Джамус и я ведем разговор. Никаких важных тем: дальние вещи из иного мира.

Джамус рассказывает, как он служил на британском военном корабле. Ночью корабль плывет под звездным небом, а матрос несет вахту на мостике, смотрит на озаренное луной небо и вспоминает о тоскливых вечерах в дальних странах. Компания матросов сидит в баре в Александрии, размокшие окурки в пивной луже на столе, а одноглазый парень наполняет бокалы. Звучат печальные шотландские песни. Крохотная потаскушка робко предлагает свое

щуплое тельце пьяным матросам на улицах Ла-Валетты. Ее холодные губы бесстрастно целуют жирные рожи... и здесь, вдали, мне так жаль ее маленьких круглых грудей и ее тощего тельца.

Я удивлен тем, что вдруг ощутил требующую действия нужду. Странно, что мое тело всё еще нормально функционирует.

– Вставай, пошли похезаем, – предлагаю я Джамусу.

Он встает, независимо от своей воли, как загипнотизированный. Здесь мы стадные животные, инстинктивно следующие друг за другом. Если один из нас ест, другие ощущают голод. Если кто-то ложится спать, все другие чувствуют себя уставшими. Я прорубаю ножом тропинку в кактусах. Мы делаем несколько шагов, спускаем штаны и приседаем.

Сперва, когда мы были салагами, нас это смущало. В лагере Иона сортиры были открытые и похожи на карусель. Мы садились рядом друг с другом и видели друг друга. Сперва от этого мутило. Мы старались ходить в уборную, отпросившись с занятий, или выбирали очко подальше. Мы стеснялись мыться в большой общей душевой. Мы стояли в углу и с завистью смотрели, как уже обывкишие тут проворно сбрасывали одежду и заскакивали в душ на глазах у всех.

– Целки! – гоготали они, обливая нас холодной водой. – Давай сюда, никто у вас не откусит.

Но мы стыдливо и медленно раздевались, надеясь, что они уже кончат умываться, пока мы разденемся.

Теперь мы могли бы принять душ на виду у целого батальона и справить нужду хоть всем строем. Даже приятно было поболтать за этим занятием. Наводит на философские раздумья...

Мы долго сидим на корточках среди кактусов. От дрянной еды не вовремя и несметного количества арбузов, которые мы поглощаем, у всех дрысня. Вдруг Джамус раздражается диким хохотом.

– Ты-ты-ты помнишь пе-пе-первую роту в Я-я-явне? – выдавливая он из себя между спазмами смеха.

– Во-во-вот это бы-была операция! – отзываюсь я.

В нашей первой роте был очень заботливый писарь, который сопровождал бойцов на базовый лагерь во время каждой операции. На этот раз он принес нам целый бидон теплого молока. К месту назначения шли часа два-три, и тогда почувствовали, как подвело подкисшее молоко. Всю операцию и на обратном пути у всех сводило желудки: присаживались на корточки даже во время атаки.

Мы истерически хохотали. Такой приступ мог растянуться на полчаса. Когда это было? Десять дней назад?

– Ты помнишь тех, кого похоронили посреди кибуца?

Смех, который только что утих, разразился с новой силой. Мы лежали тогда в траншее во время главной атаки. Вдруг к нам примчался какой-то одичалый тип с криком:

– Где Джамус! Где эта паскудная свинья?

– Чего тебе надо? – спросил я, подняв голову, пока Джамус пытался укрыться за мной.

– Эта дырка в заднице закопала убитых так, что их ноги из земли торчат!

Мы лежали в траншее, давясь от смеха. Мы хохотали до слёз. Бойцы выскочили с ближних позиций глянуть, что стряслось. В конце концов, заржал и одичалый кибуцник. Мы катались по земле в иступленном веселье, хватаясь друг за друга, отирая слёзы с глаз, а вокруг нас рушились казармы, и куски бетона падали с водонапорной башни.

– В-вот это бы-была лафа! – ухватил себя руками Джамус, чтобы не свалиться в наделанную кучу.

Но сквозь смех мы вдруг ощутили знакомый звук. Приближались три Спитфайра. Инстинкт гнал нас спрятаться в кустах, но нельзя бежать со спущенными штанами, да и смысла не было: движение выдало бы нас. Так что мы остались сидеть, как сидели.

– Забавно умереть в такой позе.

– А в другой позе лучше?

– Всё же лучше получить шрапнель в брюхо после того, как посрал. Тогда кишки пустые, – добавил Джамус.

Это древнее предание. Когда мы были салагами, то обращали внимание на такие вещи. Перед первым боем я опорожился – так, на всякий случай. А потом мы стали фаталистами. Можно загнуться с пустым желудком и остаться живым с полным. И вообще, лучше набить себе брюхо перед каждой операцией. Когда еще представится случай?..

Самолеты не обнаружили нашей новой позиции. Покружив несколько минут над деревней и дав пару очередей по саду, где мы до этого были, они скрылись.

– Может быть, им нужно расстрелять боеприпасы до начала перемирия, – предположил я.

– Перемирий не бывает, – утвердительно произнес Джамус.

– Почему?

– Всегда есть политики, которые хотят войну. Особенно среди наших! – объяснил Джамус, думая, что я стану ему возражать.

Но он просто разозлил меня. Я представил себе гнусного политика, сидящего в своем кабинете в Тель-Авиве с чашечкой кофе и булочкой с маслом перед собой. Я вижу его толстую рожу, отутюженную сорочку и золотой зуб в верхней челюсти. Говорит он писклявым евнушачьим голосом, шумно схлебывает и объясняет своим коллегам: «Мы должны вести сражение во имя будущих поколений. Эта миссия возложена на нашу молодежь, которая своей кровью приближает мечту сионизма. Наши сердца поведут нас по пути страданий и чести...» Он сидит там в своем кресле, а мы тут сидим на корточках, согнувшись в три погибели. У него геморрой и высокое положение.

– Только бы мне попались в руки эти политики, – думаю я.

– Что бы ты с ними сделал?

– Я бы... Я бы... – и никак не могу придумать картины, удовлетворяющей мои садистские фантазии.

– А я знаю, – говорит Джамус. – Я долго об этом думал. Представляю, как мы загоняем этих зачинщиков войн в маленькую комнату, потом берем ручную гранату, вынимаем заряд и вставляем обратно запал. Потом бросаем им в окошко. Они видят, что предохранитель снят и умирают от сердечного приступа, как настоящие герои.

– Так ведь они понятия не имеют, как устроена ручная граната.

Джамус останавливается и хохочет с открытым ртом. А потом вдруг становится очень печальным.

* * *

Мы уже закончили, но вставать совсем не хочется. Эта скрюченная поза удобна и как-то соответствует нашему настроению.

– Дай бумажку!

Я щедро отрываю пол-листа старой газеты, которую держал в кармане для этой цели, и передаю Джамусу. И оба сосредотачиваемся на заголовках.

– Вот сволочи! – бранится Джамус. – Послушай, что этот военный эксперт пишет: даже если ООН обяжет обе стороны к перемирию на несколько лет, нет сомнения, что эти годы будут использованы ими для накопления оружия и подготовки к новому раунду. Тогда решающее значение... – Джамус рвет газету и старательно подтирает ею свой зад. – Война еще не кончилась, а они уже строят планы, как убить выживших.

– Вставай, давай малость прогуляемся, – предлагаю я.

Возвращаться к нашим товарищам под деревьями совсем не хочется. Лучше остаться одним и брести по полю. Вся земля покрыта гниющими арбузами, а на соседнем поле грядка с высохшими овощами. Всё заросло сорняками. Через пару недель они тоже высохнут.

Сгнившие фрукты, покинутые дома. Уничтоженный труд поколений. Сколько часов тяжелой работы требует каждое растение? Крестьянский труд не по мне. Давно, когда мне было десять лет, я проработал полгода в Нахалале, знаменитом мошаве на севере. С тех пор нет у меня к таким занятиям романтической тяги. И не могу я отличить одно растение от другого.

– Не знаю почему, – размышляет вслух Джамус, – но вид мертвых растений и плодов для меня печальнее вида трупов. Глядя на это, перестаешь верить в Бога.

– Ты когда-нибудь верил в Бога? – интересуюсь я.

– Я не об отце небесном, который, как написано в Библии, дарит своим чадам то конфетки, то подзатыльники. Я в каком-то смысле о морали...

– Надеюсь не в том, что в субботу надо зажигать свечу и нельзя есть свинину?

– Не будь ребенком. То, что евреи называют религией, это вздор. Отборная коллекция предрассудков и ритуалов. Я говорю о настоящей религии, той, что подскажет тебе, что можно делать и чего нельзя.

– Кебаба воспитывали в религиозной семье, – напомнил я ему. – И Цуцика, кажется, тоже.

– Какое это имеет значение?

– Разве ты не понимаешь? Если человек, вроде Кебаба, может убить первого встречного феллаха и оставаться при этом верующим, тогда на хер такую веру!

– Из этого следует, что наша религия сгнила и нам нужна новая вера. Вера, которая запретила бы убивать и феллахов, и пленных, и верблюдов...

Вдруг он расхохотался.

– Честное слово, я и не подозревал, что я верующий. С ума тут сойдешь!

– Я где-то читал, что человек обретает веру, когда чувствует, что скоро умрет, – утешил я его.

* * *

Мы поплелись назад к сборному пункту. Может быть, поступили новые сообщения по радио. Наши бойцы, как и раньше, валялись на земле. Никому не охота слушать радио. Мы боимся того, что можем услышать.

Тайком поглядываю на часы. Осталось еще два. Джамус вытаскивает бисквиты, и мы их медленно жуем, чтобы хоть чем-нибудь заняться. Ползут минуты. Все тайком поглядывают на часы и, чтобы скрыть это, почесывают руку. И глупо улыбаются, когда видят, что уловку заметили.

Из Манцувы, которую наши товарищи вчера взяли, донеслись выстрелы. Вдруг перед нами, как по команде, возникли наши наблюдатели. Всё, лёжка закончилась.

Шесть тридцать, шесть сорок пять, сорок шесть, сорок семь. Еще тридцать, двадцать, десять секунд – шесть сорок восемь...

В Манцуве идет нешуточная пальба. Минометы и артиллерия – грохот будто стянули туда пушки со всего фронта. В нас вновь вспыхнула надежда. Может быть, это добрый знак? За пять минут до первого перемирия египтяне открыли шквальный огонь. Арабские причуды. Может быть, просто хотят показать нам, что согласились на перемирие не из слабости. Но на этот раз они стреляют не в воздух. Несколько снарядов залетело к нам, в Манцуву и в соседний кибуц. Эти долбаные самолетики уже вернулись и что-то ищут. Мы лежим на земле как мертвые.

Боже, вот она смерть! Боже!

Самолеты улетели. Шесть пятьдесят пять, -шесть, -семь, -восемь.

Еще две минуты. Еще минута. Обстрел продолжается.

Может быть, часы у нас неточные?

Несколько минут напряженного ожидания. В Манцуве тяжелый бой. Ясно слышны пулеметы.

Прекрасные мечты о перемирии растаяли. Только сейчас мы осознали, как глубоко верили в это. Никто не сказал ни слова. Вся рота сидит на земле без движения. Чувство полной безысходности.

Каждый из нас силится как-то совладать со случившимся, чтобы пережить следующие несколько дней. Надо это вынести. Только где-где-где-взять силы? В любом случае, через несколько дней всё будет кончено.

– Через неделю с нами будет покончено, – бормочу я.

– А, может быть, только ранят? – блеснул Джамусу луч надежды.

Да, быть раненым – наша великая надежда. Это значит госпиталь, кровать с белыми простынями... Покидаешь фронт с почетом, и потом не надо будет стыдиться своих товарищей.

– Если немножко повезет, может быть, просто ранят в ногу, – размышляет вслух Джамус. – Ниже колена. Можно пролежать в госпитале полгода. И почти все такие раны полностью заживают.

Как переменились наши идеалы! Лишь полгода назад мы молились: не дай бог мне стать калекой. Лучше умереть, чем потерять руку или ногу. А сейчас мы все готовы потерять руки, ноги, глаза – только бы остаться в живых.

– Египтяне, может быть, не знают, чего ты хочешь, и будут тебе целиться в живот или яйца?

Я хочу проклясть египтян от всей души, но в моем воображении возникает египетская рота – жалкая, поредевшая, а оставшиеся солдаты валяются на земле, точно как мы здесь. Они клянут войну теми же словами, но им это еще труднее, чем нам. Потому что у них нет ощущения, что они пошли на войну, чтобы защитить себя. Без такого чувства мы все давно дезертировали бы.

Вдруг раздался резкий, хриплый крик. Санчо рядом с джипом размахивает наушниками и что-то кричит. Сперва кажется, что на него напала трясушка. Но вокруг уже собрались бойцы, и кричат все вместе. Все вскочили на ноги: Тарзан, Нахше, Джокер, Кебаб, Цуцик. На их лицах сомнение, но расплылись в улыбке, как малыши.

Из штаба сообщили: перемирие вступило в силу!

Встали и мы с Джамусом. Внутри какая-то необъятная пустота. Нам подарили жизнь, а мы не знаем, что с ней делать. Одиннадцать долгих дней мы прожили в полной неопределенности, не думая даже о завтрашнем дне. А следующая неделя была в отдаленном будущем, о котором думают, реально в него не веря.

Произошло нечто странное, и чего-то в нем не хватало. Мы не могли понять, чего. Мы прислушивались, сужая глаза и пытаясь ухватить смысл происходящего.

Артиллерия в Манцуве замолкла.

Минуту мы ничего не слышали, кроме криков Санчо, но Тарзан зажал ему рот своей громадной лапой, и крик оборвался. Воцарилась полная тишина.

* * *

С другой стороны деревни, где расположился штаб батальона, пришел главный. Он весь сиял. Его дважды ранило, и он собирался скоро жениться.

К нам он пришел с последним заданием. Вокруг Манцувы лежало несколько тел убитых египтян. Он хотел, чтобы мы пошли туда и забрали их бумаги, если найдем. На такую работу всегда было много добровольцев. Отправился и мой джип.

Манцува выглядела точь-в-точь как арабский базар-«сук» в голливудском фильме. Роту Яшке, которая захватила город, сейчас сменяют. Они собрались на центральной площади в кругу из наваленных кучами трофеев. Колоритная набралась коллекция! Солдаты разлеглись на фибровых матрасах среди табуреток, керосинок, кур, водопроводных труб и мечей. Вокруг с дьявольским блеянием и воплями носились десятки овец и козлов. Я смотрю на толстого Шмуля. Он спит рядом с пулеметом, а козлы прохаживаются вокруг него и даже лижут в шею. Я пинаю его в зад.

– Привет! – улыбается он и снова закрывает глаза.

– Эй, кончай спать, чудак. Ты перемирие проспал, – ору я ему в ухо.

– Ммм-mmm-xxx, – мычит он.

– Перемирие! Ты слышал, что перемирие! – кричу я, встряхивая его.

– Слышал, – отвечает он и опять засыпает.

Если бы его приговорили к смертной казни и помиловали за два часа до исполнения, он и тогда отреагировал бы точно также же. Настоящий солдат.

– Оставь его, – сказал проходивший комзвода. – Они всю ночь штурмовали эту деревню, пока не взяли. А потом еще целый день отбивались от контратак.

Мы бродили по полям, куда глаза глядят, потеряли направление и почти вышли к аэродрому, который всё еще был в руках египтян. Никаких тел мы не нашли.

– Сукины дети! – ругается Кебаб. – Эти грязные египтяне унесли с собой своих покойников.

– А мне так хотелось освободить какого-нибудь офицера от его пистолета, – пожаловался Цуцик.

На обратном пути мы заметили на земле подозрительную белую точку. Феллах. Прежде, чем он успел подняться, Цуцик подскочил к нему, врезал кулаком в лицо, выхватил бумажник из его кармана и сорвал с головы куфию.

Крестьянин трясся от страха и что-то без конца говорил. Из носа у него текла струйка крови. Цуцик оставил его в покое и отошел, чтобы рассмотреть свои трофеи.

– Говорит – перевел Джамус, – что он феллах из Манцувы. Вчера он убежал, а сегодня вернулся, чтобы забрать дома кое-какие вещи.

– Египетский шпион, – объявил Кебаб. – Надо с ним кончать.

– Передадим его в контрразведку. Там им займутся, – решил комроты.

В Манцуве мы передаем его и получаем приказ остаться на ночь в резерве. Спим в большом стоге рядом с джипами. Последнее, что я запомнил, были укусы блох в сене.

* * *

На следующий день вся рота собралась в «комнате культуры» лагеря. Вернулись мы только в восемь вечера, побросали грязные робы в углу и гольшом побежали в душ. Потом переоделись в чистое и уселись впрытик в тесной комнате. Командир решил провести с нами беседу.

– На фиг это ему в десять вечера? – буркнул Цуцик.

– Наверно, решил порадовать, что завтра мы получим двухнедельный отпуск, – фантазирует Нахше.

– А три недели не хочешь? Ведь перемирие. Мы заслужили!

– Трепались, что всем дадут две недели отпуска, а потом неделю в доме отдыха.

– Не надо мне дома отдыха. Пусть лучше дадут дома побыть. Там мне спокойнее, – сказал Тарзан.

– Тоже разогнался, – охладил его мечтания Санчо. – Больше недели не получим. Ну, и благодарность: какие мы хорошие солдаты и как подняли честь батальона.

Тогда похвала тоже была нам не лишней. Мы, как дети, ждали, что придет папа и скажет, какие мы хорошие. И мордахи у нас были детские: румяные выскобленные щеки и расчесанные мокрые волосы. Не сбрил бороду только я.

Всем сразу стало легче на душе. За одиннадцать дней погибло полроты, но мы-то живы и не ранены! И, несмотря ни на что, расположены друг к другу.

Вот, например, Тарзан. С ним невозможно ничего обсуждать, но после боя у высоты 125 он отправился пешком к египетским траншеям искать раненых. Нахше – стопроцентный эгоист и думает только себе. Но на пути к Бейт-Джамалу он под градом пуль выскочил из джипа, чтобы подобрать тело Нуни. Да, Кебаб, конечно, убивает, потому что ему нравится убивать. Но он всё время был с нами, хотя всем известно, что перед каждой операцией его охватывает дикая паника. И даже Цуцика, несвятую нашу деву, все любят: просто он из наших.

– Ну, в самом деле, – шепчет Тарзан самому себе, – я и поверить не мог, что останусь жив.

– Ты слишком тяжелый, чтобы нам нести тебя на кладбище, – ответил ему Санчо.

Но Тарзан сказал именно то, что мы все думали. Никто из нас не смел надеяться, что останется жив.

Командир зашел, сел за стол напротив нас и обвел всех строгим взглядом.

– Сейчас будет благодарность, – шепнул Санчо.

– Вы были примерными солдатами, – начал шеф. – Вы хорошо исполнили поставленные вам задачи. Но хороший солдат – это не только хороший боец. Он должен достойно себя вести. А вы вели себя отвратительно. Просто как недисциплинированные дикари. Вы играли в покер, и этим нарушили четкий приказ.

Взгляд его остановился на Тарзане – самом заядлом игроке в покер среди нас.

– Так дальше продолжаться не может! С этой минуты. Завтра подъем в 5:45 на утреннюю пробежку. В восемь – на развод. Ружья блестят, ботинки надраены, форма чистая, лица выбриты.

Теперь он уставился на меня.

– Носить бороды запрещено!

Мы переглянулись. Детское выражение с лиц как рукой сняло: они окаменели и налились гневом. Наши мысли стали слышны, как дальний ропот моря.

– С завтрашнего дня живем по уставу. Строевая подготовка! Упражнения с оружием и без оружия! Боевая подготовка! Никакой дикой вольницы! Обращаясь к старшему по званию, стать по стойке смирно! И чтоб командиры взводов делали всё, что положено, без напоминаний! Всем ясно?

– А как с отпуском? – спросил Санчо.

Голос у него спокойный, но я вижу, что он сжался, как пружина, и сейчас распрямится и рванет. С места он не встает. Командир это замечает, но не реагирует.

– Никаких отпусков! Перемирие – это не мир, и нужно быть готовыми к любому развитию событий. Роты будут получать суточные увольнения по очереди. Наша рота – последняя.

– Почему они не пришлют сюда бригаду из Тель-Авива охранять эти вонючие позиции во время перемирия? – взорвался Тарзан.

– Если штаб запросит ваше мнение, изложите свои соображения, – поддел его командир.

– Всё! До пяти сорок пять – свободны!

– Смир-но! – рявкнул сержант.

Шеф удалился.

И началось столпотворение. Все разом загалдели, никто никого не слышал. Но вскоре утвердились наши голоса, голоса «ветеранов».

– Что он себе думает? Он что, наш папа? – взвился Кебаб.

– Стану я его спрашивать, играть мне в покер или нет!

– Yob tvoyu mat! Кто тут такой вшивый, чтобы пошел завтра на строевую!

– Я до семи не встану. Пусть сам бегаёт!

– Могли бы прямо отправить нас в тюрьму – меньше мороки.

– Я больше ни дня не пробуду в этом говенном батальоне. В бою мы им пушечное мясо, а когда перемирие – делают из нас салаг!

Кто-то подсунул мне под нос лист бумаги и ручку.

– Пиши!

Я зевнул. Это уже пятый или шестой бунт на моей памяти. Помню текст наизусть. «Я просил включить меня в роту джипов, потому что этому подразделению поручают особо важные задачи, а его личный состав обладает особыми привилегиями и правами... Поэтому я прошу перевести меня в аналогичное подразделение другой бригады».

Каждый должен был написать такое письмо самостоятельно, чтобы нас не могли обвинить в организованном мятеже. Те, кто был пообразованней, справились быстро, но другие не умели толком читать и писать. Каждое слово нужно было диктовать им по буквам. К двенадцати ночи пачка жалоб была готова. Мы положили ее на стол командира в темной штабной комнате.

Лежа, еще немного поговорили.

– Что из этого получится? – спросил Джамус.

– То же, что и всегда. Завтра шеф соберет нас и станет грозить, что отправит на полгода в тюрьму. Потом скажет, что мы лучшая рота в бригаде и не должны быть такими дураками. И добавит, что он уже сам собирался дать нам послезавтра три дня отпуска.

Непростое это дело командовать боевым батальоном. Отправить нас в тюрьму он не может, потому что из солдат с опытом остались только мы. А обойтись без нашей роты джипов не сможет бригада. У него нет прав перевести нас, да мы и не хотим никуда переводиться. Санчо прав. В конце концов, найдут какой-то компромисс. Мы станем вести себя как паиньки, а нас, вместо строевой, пошлют в какой-нибудь непыльный патруль. Вся заварушка закончится через два дня. Но я не могу ждать два дня. Мне нужно в Тель-Авив. Завтра нужно.

– Джамус, ты спишь?

– Нет, а что?

– Поедешь со мной завтра в Тель-Авив?

– Вечно преданный вам. А когда?

– После обеда смоемся через дыру в заборе, вечер погуляем, а завтра утром – опять через забор. Никто не заметит.

– Ладно, – зевает он. – Давай спать.

Домой, домой, домой.

Рычит мотор. С обеих сторон дороги летят деревья, исчезая за нами.

– Ты что, заснул? Гони живее!

Эти гражданские шофёры понятия не имеют о настоящей скорости.

Нес-Циона. Ришон ле-Цион. Я еду домой – значит, я существую.

Два странных слова: Я существую! Я существую! Я существую! А почему? Почему именно я? Почему я, а, например, не Нино? Если бы этот суданец прицелил ружье чуть правее, ситуация была обратной. Я гнил бы в земле, а Нино мчал к себе домой. Странно.

Во всяком случае, я жив и не ранен. Подумать только, что два дня назад я завидовал Нехемии, которому осколок шрапнели распорол брюхо и отправил его в госпиталь на много месяцев!

Я должен что-то сделать? А что? Напиться? Нет. Пить самоубийственно: все чувства тупеют. А я не хочу притуплять мои чувства. Совсем наоборот. Я хочу, чтобы сегодня они были самыми острыми. Девчонки? Это самое! Я найду женщину. Прямо сегодня вечером. И мы будем любить друг друга до двух ночи. Потом четыре часа на сон и обратно в лагерь, пока никто не заметил моего отсутствия.

Женщина? Странно. У меня нет никакого желания. Она мне нужна просто для того, чтобы доказать себе, что я жив, что тело у меня здоровое, что оно полно движения и чувств. Я хочу отпраздновать эту волшебную мысль, непостижимую, странную, удивительную: что я жив!

– Так ты действительно не был на фронте? – спросила мама.

– Не был, честное слово. Мне повезло. Нас всё время держали в резерве для охраны штаба.

Маме хочется расцеловать меня, но она знает, что я терпеть не могу семейных нежностей. В нашей семье проявление чувств не приветствовалось. Моего ответа ей оказалось достаточно, и она решила приготовить мне особенно вкусный обед.

Отец листал газету. Я знаю, что он мне не верит и хочет расспросить меня о боях. Но спросить не решается, чтобы не раскрыть факт, что я был на фронте. Я смотрю на него, как на чужого. Недавно он стал стареть и поседел. Он слишком много работает и слишком обеспокоен тем, что творится вокруг. Особенно после того, как мой брат Авнер погиб в операции британских командос.

Станный чудак, мой отец. Прожил сорок пять лет в мире контор и бумаг. Сын учителя, он усердствовал много лет, чтобы открыть свой маленький банк. И вдруг решил эмигрировать сюда. Говорит, что предчувствие катастрофы пронзило его до мозга костей. Но я подозреваю, что в глубине души у него таилась страсть к авантюрам, не находившая выхода в размеренной буржуазной жизни. Деньги, которые он привез с собой, пошли прахом за несколько месяцев, потому что он слишком доверял людям. С тех пор они и моя мама занимались тяжелым физическим трудом, чтобы содержать нас. И всё же я уверен, что сейчас он счастливее, чем когда сидел в конторе, перебирая папки.

Я немного завидую ему, потому что он принадлежал к поколению, которое получило настоящее образование. То гуманитарное образование, основанное на классической культуре, порождало людей, которые лучше нас. У моего отца и людей его поколения было что-то, чего не досталось нам. Может быть, потому что у них было больше времени. Времени сформировать и развить себя в возрасте, в котором мы уже стали солдатами. Может быть, потому что мы росли в среде, где не было культуры, а в школе даже не пытались нас воспитать.

Войдя в подполье лет десять назад, я стал жить своей отдельной жизнью, и не вел почти никаких разговоров дома. Я затаил на него обиду, потому что он велел мне бросить школу в тринадцать лет. Но на самом деле я люблю своих родителей. И стыжусь их, как и мои товарищи.

– Там действительно было скверно, где ты был? – спросил отец.

Говорит он тихо и не смотрит на меня. Он был солдатом в Первую мировую, и никаких иллюзий насчет романтики войны у него нет. Я чувствую, что он знает всё, и нет нужды ему лгать.

– Да, было – отвечаю я.

Он переворачивает страницу.

– Но сейчас перемирие...

– Да, слава богу, – говорит он, будто пытаюсь убедить себя.

В глубине души он знает, что мы нарушим перемирие. Отец вышел, и вошла моя старшая сестра. У нее две дочери, и она самая практичная женщина из всех, кого я встречал.

– Слушай, – начинает она без оковностей. – Кончай с этим. На прошлой неделе отец чуть с ума не сошел. Работать почти не мог от беспокойства, а если с тобой что-то случится, он руки на себя наложит. С нас хватит одного погибшего в семье. Больше нам не вынести!

– Ну, и чего ты хочешь? – спрашиваю я.

– Ты прекрасно знаешь, чего я хочу. Ты мог бы запросто добиться увольнения из армии или, по крайней мере, перевода в штаб. Я пару дней назад виделась с одним из твоих приятелей, и он сказал, что может найти для тебя место в штабе.

Я пожал плечами.

– Не выйдет.

Я не могу бросить своих товарищей и уйти в штаб. Не смогу смотреть им в глаза. Иногда мне приходила мысль перейти в другое подразделение. Я мог бы стать военным репортером где-то в другом месте. Но то, что предлагала сестра, было невозможно.

Она страшно разозлилась.

– Идиот! Ведь тебе не нравится война? А, может быть, нравится?

– Не нравится, – согласился я.

– Может быть, хочешь оказать любезность Бен-Гуриону?

– Нет, конечно!

Но как объяснить ей, что можно ненавидеть войну и оставаться в боевом подразделении, чтобы не подвести товарищей.

– Почему ты вообще на фронте? – допытывается она. – Сына соседа, напротив, призвали две недели назад, и он попал прямо в штаб. Ему уже офицерское звание присвоили, потому что у него богатый папа. А ты, со всем твоим боевым опытом, всё еще рядовой.

– Может быть, поэтому, – устало отвечаю я.

– Чего ты ждешь в будущем? Огромного камня на могиле? Никто тебя не поблагодарит, а все скажут, что ты был дурак. А отец получит еще одно приятное письмо, как он уже получил!

Моя сестра заводится.

– Даже если вернешься живой, что ты будешь иметь? На всех теплых местечках уже будут сидеть тыловые крысы. Будут смотреть на тебя сверху вниз, и окажешься у них на побегушках. После прошлой войны эти пролазы стали знаменитыми, а солдаты с фронта сплошь живут на пособие. Думаешь, сейчас будет иначе? Через два года после войны никому дела не будет, сражался ли ты в Ибдесе или отсиживался в «Римском доме»?

Я знал, что она права. Может быть, мы на фронте действительно дураки, а умные строят государство, какое им надо. Так дураки всегда и делают: образуют живую лестницу, по которой другие восходят к славе. Умным ставят памятники, а дураков забывают.

* * *

Я сделал вид, что мне надо отдохнуть, попросил их всех уйти и заперся.

В моей комнате кавардак. Сто завален всякими штуkenциями, которые я привозил из прошлых «отпусков»: мелкие трофеи, распорядки дня, страницы дневника, письма от друзей и фотографии, которые я спер в арабских домах. Это мой пунктик. Я собираю фотографии феллахов, особенно, женщин и детей. Хочу впоследствии напоминать сам себе, кто были наши «враги».

Книги покрыла пыль, и я смотрел на них без умиления. На войне я узнал больше, чем изо всех этих книг. Больше всего меня раздражают книги об «искусстве ведения войны». Бумагомараки, никогда не испытавшие настоящей войны, потому что в таком случае они не написали бы таких умных книг. К книгам о политике меня тоже не тянет. И всё же мне не хватает умиротворенности ушедших дней. Как славно было уйти в хорошую книгу под лампой на столе, а радио играло бы что-то классическое, и мир становился понятен.

Я начал приборку. Протер пыль, подмел пол, и в комнату вернулся уют. Подготовил всё к ночи. Действовал я методично, будто готовясь к чрезвычайно опасной операции. Фужеры для вина, сигареты – всё на месте. Взял у мамы часть пирога. Потом принял душ: холодная вода меня освежает. На фронте говорили, что холодный душ заменяет четыре часа сна.

Вдруг я громко рассмеялся: забавно всё же так готовиться к ночи с девушкой, даже не зная, кто она.

Восемь часов, и всё готово. Осталось только найти девушку.

Первым делом я зашел к Шифре. Она мне нравилась сама, и нравилось ее общество. У нее есть парень, который служит в другой бригаде, но мы с ним не сталкиваемся, потому что когда я получаю увольнение, его не бывает в городе.

Я лежу на диване в ее комнате, рассказываю фронтовые истории и наблюдаю, как она расчесывается перед зеркалом. Подкрадываюсь к ней сзади и охватываю ее руками. Она вырывается, полусерьезно, полушутя.

– Ты дикарь! – хохочет она.

Вдруг мне становится стыдно самого себя. Я сознаю, что не смогу этого с ней и хочу уйти.

– Что? Уже уходишь, – спрашивает она разочарованно.

Конечно же, ей хотелось провести этот вечер со мной.

– Мне нужно сегодня вернуться, – вру я.

– Почему вам никогда не дают нормального времени для увольнения?

– Разве тут мало других молодых людей? – шутливо спрашиваю я.

– Знаешь, их, в самом деле, не много, – соглашается она. – Есть пара дохляков по конторам, да ну их...

– Позволишь ли ты герою с передовой поцеловать тебя? – спросил я.

– Нет.

– Какая жалость. Шалом!

Выйдя на улицу, я крепко задумался.

Я мог бы заглянуть к подружке Шифры, но та жила на другом конце города. Если потом провозжать ее обратно, для сна ничего не останется.

– Эй, приветик! Как поживешь? – прозвучал искусительный голосок.

– Ух, ты! Здравствуй! – живо отозвался я.

Это Юки. Я не знал ее настоящего имени. Она была в батальоне всего несколько дней, и там все ее так звали.

Девчонка в порядке, и не надо далеко тащиться.

– Ты ниспослана мне небом! – изрек я со всей возможной убедительностью.

– Врешь ты, – лукаво улыбнулась она.

– Да ты что? Весь вечер думал только о тебе.

– Правда?

– Правда. Давай пройдемся.

Она замялась.

– А у меня свидание с одним красивым мужчиной.

– Кто он?

– Офицер из Яффо.

– Тоже мне... Выбрось его из головы!

Я обвил рукой ее талию.

– Ну, и куда мы пойдем?

– Куда хочешь, – ответил я с невинным видом. – Хочешь в кино?

Пока мы шли, она расспрашивала о батальоне. Вспомнили о фотографиях, которые я нащелкал, и о том снимке, где она сидит у радиоприемника. Она захотела взглянуть на них, и я предложил зайти ко мне домой по дороге в кино. Всё шло по плану. У меня вовсе не было охоты терять драгоценные часы в темном кинозале.

В своей комнате я вывалил перед ней целую гору снимков. Пока она их рассматривала, я налил два бокала араки.

– Нет, спасибо.

– Ты что, солдат или кукла?

Она выпила до дна. По радио играли Моцарта. Я сел перед ней, скрестив ноги, и продолжал трудиться над бутылкой.

Среди фотографий были снимки бойни в Латруне. Один из них я сделал в сотне метров от напавших арабов, когда почти все из нашей роты бежали, и осталось только несколько бойцов. На снимке четверо совершенно измотанных парней тащат на носилках раненого. Моя камера стояла не больше трех лир, но снимок вышел резкий: лицо раненого, кровь, капающая у него из груди, изможденные лица спасителей.

– Просто фантастический снимок! – восхитилась Юки.

Я помнил этого раненого, и в тот момент возненавидел ее. В отместку я показал ей несколько совершенно страшных фотографий. Египтян, закопанных у высоты 125 с торчащими из земли ногами, суданца, которого облили бензином и сожгли, потому что лень было рыть для него могилу, трехлетнего мальчишку, у которого расстреляли отца. Скоро она потеряла интерес к моей коллекции.

– Ладно, хватит этих ужасов. – Она сидела рядом со мной на диване. – На сегодня с войной покончено. Не возражаешь?

Я поцеловал ее. Дурочка. Неужели она, в самом деле, верит, что войну можно задвинуть в ящике стола и открыть ящик мира? Блузка вылезла у нее из юбки. Я осыпал ее тело поцелуями. А почему бы нет, в самом деле? Почему мы не можем запереть войну в ящике стола?

Я прижался к ней.

– Если ты сможешь мне, я забуду о войне.

– Это нехорошо, простонала она, и я чуть не разразился хохотом.

Нехорошо! А посылать нас гибнуть и убивать других – хорошо? И несчастный феллах, которому пустили пулю в голову, тоже, наверно, подумал бы, что это нехорошо.

Я провел рукой по ее бедрам. В полумраке розовела их округлость.

– Выключи хотя бы свет.

Мне не хотелось его выключать. Мне нравилось смотреть на живое, трепещущее тело. Совсем не такое, как тела, которые я видел у обочины дороги и в поле. Зачем думать о мертвых? У мертвых нет тел, это смердящие трупы. А рядом со мной живое красивое тело. Я прижался к нему лицом.

– Скотина! – взвизгнула Юки.

– Да, – согласился я.

Ее глаза смежились, дыхание отяжелело. Но я не ощутил восторга. Меня здесь не было: я где-то плыл, с усмешкой глядя на нас. Я спал с ней, будто выполнял свой долг или откладывал впрок воспоминания, которые извлеку, когда буду на фронте.

* * *

Она лежит рядом со мной, нежно улыбается и поглаживает мне волосы, будто я оказал ей благодеяние. Мне стало противно. Как мне сейчас подняться, не расстроив ее? Она такая обмякшая и усталая. Мертвецы у дороги опять заняли мой ум.

– Надо вставать. Зайдем с тобой в кафе? – предложил я, поднимаясь.

– Зачем? – спросила она, без малейшего желания покинуть постель.

– Я договорился встретиться тут с одним парнем из моей роты, – соврал я.

Она издала стон, вылезла из кровати и стала одеваться. Я проглотил еще несколько бокалов араки, чтобы смыть вязкую горечь во рту.

Несмотря на затемнение, жизнь на улицах бьет ключом. Кафе переполнены. Из кинотеатров валом валят зрители.

На другой стороне улицы кто-то лезет расцеловать хохочущую молодку.

– Сколько здесь жизни сегодня! Как празднично и весело.

– Почему сегодня? – удивилась она. – Здесь так каждый вечер.

Меня разбирает злость. Каждый вечер? И позавчера? Мы знали, что где-то есть Тель-Авив, рай торжеств и наслаждений.

Но не представляли, как блаженствуют эти молодые и здоровые весельчаки в те самые часы, когда мы гоняли на джипах под вражеским огнем. Хрень собачья!

В артистическом кафе «Кассит» компания военных во франтоватых мундирах. Они из «Лис римского дома». Среди них несколько молодых писателей и кто-то из интеллигенции. Один шапочный знакомый подозвал меня к столу, может быть, чтобы поддеть других.

– Это настоящий солдат! – представил он меня.

Я присоединился к их обществу.

Присутствовавшие послали мне несколько недружелюбных взглядов и разговор не прервали. Решали, как лучше представить свои впечатления о войне – можно ли и нужно ли отдалиться от описываемых событий, обсуждали современную литературу, эпос и романтизм. Мне было их жаль. До чего они наивны! Просидели всю войну в кафе или в конторе и рассуждают о том, как передать опыт войны, не ощутив ее вкуса. Как может писатель найти путь к сердцам своего поколения, если не готов идти вместе с ним?

Кто-то вспомнил о предложении одной газеты учредить специальную медаль для фронтовиков. За столом эта идея встретила одни лишь возражения.

– Мы не допустим дискриминации среди нас! – раздался писклявый голос одного толсторожего.

– Долой дискриминацию! Все на фронт! – заорал мой подвыпивший знакомый, игравший важную роль в каком-то учреждении по культуре.

Толсторожий сердито обернулся к нему:

– Наш долг слишком важен, чтобы мы позволили себе торчать где-то на фронте с винтовками. Кто, в самом деле, идет на фронт? Невротики, чтобы избавиться от своих комплексов. И мы в этом виноваты. Мы прославляли их в литературе. А сейчас публика нашла в них романтику.

– Правильно, – вставил я. – Если бы вы не писали о солдатах на фронте, никто вообще бы о них не знал. Как жаль, что на передовой не оценивают ваших усилий.

– Их баламутят, – писклявый голос вознесся в возбуждении до визга. – В конце концов, любой прохиндей, которому случилось побывать на фронте, станет думать, что имеет право на привилегии. Нужно крепко взяться за подстрекателей, и тогда всё станет на место.

– Позвольте им довоевать, прежде чем отправите их в тюрьму!

– Надо крепко взяться за подстрекателей, – упрямо повторил он.

– Ладно, только не забудьте вывесить на фронте объявление: «Боевые действия отложены до соответствующего распоряжения».

Мой подвыпивший компаньон стал нашептывать мне на ухо чины и должности сидевших за столом. Судя по ним, присутствующими можно было бы запросто укомплектовать штаб боевого батальона.

Один из офицеров с другой стороны стола рисовал на скатерти свой стратегический план. «Сперва наступаем на Иордан. Берем без труда Дженин и Наблус...»

– Каковы, по вашему мнению, будут потери? – спокойно спрашиваю я

– Это несущественно, – отмахнулся. – В этот исторический момент мы не можем думать о потерях. Наша молодежь готова на любые жертвы.

На вид ему года двадцать четыре, и я вообразил, каким старцем он будет выглядеть, когда пойдет в атаку пехота.

– Южный фронт недостаточно активен, – продолжил стратег-любитель.

Мне очень хотелось упростить ситуацию и врезать ему от души. Но тут меня заметет военная полиция, а я без пропуска.

– Пошли, провожу тебя домой, – предложил я Юкки.

– А мне здесь нравится, – заупрямилась она.

Блестящая компания высоких званий и знаменитые имена вскружили ей голову. Она не хотела упустить возможность поближе познакомиться с известными людьми.

– Я могу отвезти тебя на своей машине позднее, – предложил завоеватель Иордана, показав на припаркованный военный вездеход.

– Видишь, как тебе везет? – радостно ответил я.

– Ты не обидишься? – ласково спросила Юкки.

– Что ты! – заверил я ее.

Слава богу, вернусь сейчас прямо домой и завалюсь спать. Еще целых четыре часа.

– Так вот, – продолжает развивать свой план стратег, – после того, как мы возьмем Дженин и Наблус и сомкнем клещи...

Мечта поколений

Вонь!

Она втекает через нос и заполняет всё тело – тошнотворная сладкая смесь хлороформа с дезинфекцией.

Хоть бы на полчаса избавиться от нее и подышать свежим воздухом.

Госпиталь – царство запахов. Рыжий парень в большой палате говорит, что может определять время носом. Ему семнадцать. Он вступил в «Пальмах» в поисках приключений. Говорят, красивый мальчишка. Родился в одном из сельскохозяйственных мошавов долины Эмек. Хвастает, что был там лучшим наездником. Ну, конечно, до того как с ним случилось «это». После захвата Маждала он нашел несколько немецких ручных гранат. Ему было невтерпеж узнать, как они разбираются. Граната разорвалась у него в руках, оторвав пальцы и выбив глаз. Через пару недель ему будет восемнадцать. Он признался, что никогда еще не спал с женщиной.

Он искусней всех различает запахи. Утром, когда протирают полы, надо всем царит запах дезинфекции. Вскоре после полудня вступают в свои права карболка и хлороформ. Они даже противней смрада испражнений, который иногда заносит в палаты. Это наши главные ароматы. Но есть и неповторимые запахи крови, гноя и выделений заживающих ран.

Война не для деликатных носов. Может быть, поэтому так многие не понимают ее: они видели войну в кино, без запахов. Никому еще не удалось изобразить миазмы войны. Никто еще не изловчился писать так, чтобы нос их ощутил.

Когда городские девушки прочтут, что мы две недели не умывались, на них повеет романтикой. Но ощутив запах наших тел, они с омерзением отвернутся.

«Издалека чует битву...», – сказано в книге Иова. Наверно, Иов был солдатом. Только побывавший на фронте мог написать такую пацифистскую книгу. Иначе откуда бы он знал, как воняет война? Другим война предстает сверкающими мундирами на победных парадах. Так было всегда. Мир почти не изменился со дней Иова.

«Издалека чует битву...»

* * *

Запах пороха, царь запахов, сладкий аромат.

Иногда он властвует надо всем пространством, как в Ибдесе и Негбе. Он верен вам и не покинет вас никогда, пока вы на фронте. Едва он коснется носа, пусть хоть на стрельбище, нервы натягиваются, а нутро сжимается.

Когда я ощутил его в первый раз? Может быть, когда мы выпустили тысячи снарядов по несчастной Дир Сумин, первой деревне, которую мы взяли штурмом и откуда выгнали жителей? Нет, я слышал его и раньше, за два дня до этой операции, на стрельбище, когда мы впервые осыпали винтовку в руках.

Да, своя винтовка в руках: высший символ реальности того, что было «мечтой поколений». Новые винтовки, хорошо смазанные, со свастикой на некоторых стволах. Изготовил их чешский завод для немецкой армии. Владельца завода, наверно, хватил удар, когда он узнал о самоубийстве Гитлера, не успевшего получить и оплатить заказ.

Где мы учились стрелять? На вершине холма. Вся земля была покрыта винтовками, автоматами и ручными гранатами. Мы впервые ощутили себя настоящими солдатами. Взвод за взводом выстраивался, чтобы опробовать новое оружие, ощутить отдачу в плечо.

Командир роты по имени Израиль, которого мы впервые увидели в то утро, подходил то к одному, то к другому, показывал, как заряжать и прицеливаться. Красивым молодым парнем

был этот Израиль. Настоящий солдат, будто спрыгнувший с плаката на призывном пункте. Как мы, зеленые новобранцы, ему завидовали!

Он погиб через восемь часов. Наша первая жертва. Чтобы «закалить» нас и дать представление о трудностях фронтовой жизни, нам устраивали пешие марш-броски от кибуца до кибуца. Весь батальон невероятно длинной колонной двигался в полной темноте, и первая рота потеряла контакт с другими. Она залегла, заняв круговую оборону. Вдруг в десяти ярдах перед солдатами возник силуэт. Юнцы опешили и открыли огонь. Израиль оказался первым сраженным ими.

* * *

У всего на войне есть свой особенный запах. Даже у любви. Помню мной первый поцелуй с Юки. Случилось это в Бейт-Сара, одной из покинутых деревень, оставшейся в памяти своими злющими блохами. Мы обливались ведрами разведенного дуста. Блох это ничуть не смущало. Ученые говорят, что живое существо может со временем ко всему привыкнуть. Жизнь у этих блох в море дуста была восхитительна и роскошна.

Юки провела с нами в этой деревне несколько дней. Как и все мы, она провоняла дустом. Бык бы издох от этой вони. Но блохи не возражали. Они прогуливались по нам, пока мы обшаривали деревню в поисках сувениров для Юки. Я поцеловал ее в одном из домов на куче сена. Запах дуста уступил домашним запахам древесного угля и козьих окатышей. Это была симфония запахов, симфония военной любви. На несколько минут мы даже забыли о блохах.

Странно, что все запахи войны имеют сладковатый привкус. Сладко противный. Запах гниющей плоти. Наверно, и к нему можно привыкнуть, но нам не удавалось.

В Ирак-Шаркиахе мы простояли две недели в невыносимо зловонном вади. Запах исходил от холмика посреди вади. Мы так и не узнали, откуда он: от издохшего осла, верблюда или человека. И это тоже свойство войны: повсюду запах смерти, но вы не знаете, кто эти мертвые, кто их убил и почему. У большинства смертей на войне нет причины. Вы не знаете, за что вы их убили: решают вышестоящие начальники.

«Издали чует битву...»? Не всегда издали. Иногда запах очень близок, он окутывает и душит, впивается когтями в легкие. Как в тот грозный день, день смерти.

* * *

- Фу-у-у! Хат Масари! Деньги давай! Фу-у-у – закатывается смехом Кебаб.
- Заткнись! Хватит уже! – орет на него Нахше. – Закрой свою пасть!
- Фу-у-у! Хат Масари! Деньги давай! – опять взрывается Кебаб.
- Опять завелся? – раздраженно спрашивает Нахше.

Этим утром мы атаковали Дабу. Всё прошло, как в кино. Несколько офицеров с гостями и ответственный за культуру забрались на водонапорную башню соседнего кибуца, чтобы наблюдать за зрелищем. Мы подкатили к деревне широкой цепью джипов, десять метров между машинами. На ходу мы расстреляли тысячи патронов. Трудно целиться из автомата в движении, особенно когда сидишь сзади, а ствол раскачивается между правым ухом водителя и левым ухом седока рядом с ним. Пока мы ехали, автомат выпал из рук Нахше, и пуля пролетела между ног сидевшего спереди Тарзана.

Деревня была пуста. Феллахи, завидев наше приближение, сбежали. Кое-где перед домами еще горели керосинки: мы не дали им дозавтракать. Без малейшего интереса проехали по улочкам, где едва мог протиснуться джип. Мысли были устремлены к обеду в Реховоте и душу в лагере: после таких мелких операций мы старались исчезнуть на пару часов до возвращения на базу.

Мы были страшно удивлены, вдруг увидев здесь живое существо. Это была завернутая в тряпье старуха, лет за восемьдесят. Она сидела перед своим домом. Феллахи, убегая, часто бросают стариков и слепых.

Первый джип резко затормозил. Мы глянули друг на друга.

– Чего с ней связываться? – ответил Санчо на незадаанный вопрос, и мы двинулись дальше.

На следующем перекрестке мы заметили, что другой джип с Нахше, Тарзаном и Джамусом отстал от нас. Мы с трудом развернулись и поехали назад. Второй джип стоял у дома старухи, а Нахше размахивая пистолетом перед ней.

– Хат Масари! Деньги давай! – кричал он.

Как и все мы, он был убежден, что любой араб прячет где-то клад.

– Ма феш йа кхавайа! У меня нет денег, сэр, – жалобно хныкала старуха.

– Фу! Фу! – сердито крикнул Нахше и выпустил в нее четыре пули. От выстрела тело ее подпрыгнуло и, уже безжизненное, рухнуло, прислонясь к двери, в том же положении, в каком мы его застали.

Сейчас Нахше стало стыдно, и он не хотел, чтобы ему напоминали о том, что он наделал. Так с ним всегда. Он не может убить просто из удовольствия, а потом чувствовать себя героем, как Кебаб. Каждый раз, когда он убивает феллаха или пленного, он старается об этом забыть, и злится, когда ему об этом напоминают.

Но Кебаб не оставляет его в покое. Ведь Нахше из «интеллигентов». У него большая контора. Это поднимает Кебаба в собственных глазах, потому что если такому человеку, как Нахше, позволено убивать феллахов, то и он, простой разнорабочий, тоже вполне уважаемый человек.

Но можно ли вообще ставить это в вину Нахше? Он в этом не виноват. Позывы к человекоубийству овладевают им, как болезнь. Он просто ничего не может с собой поделать. Раненного товарища на поле боя он ни за что бы не оставил. Разве не он в бою за высоту 125, в самую страшную минуту, когда мы оказались между египтянами, выскочил из джипа, чтобы подобрать тело Нино? Насчет Кебаба я не так уверен, и не хотел бы оказаться с ним в тылу врага.

– В чем дело? – спрашивает Кебаб. – Тебе что стыдно, что прикончил эту вонючую арабку?

– Хватит! Целый день только и думаешь о ней, – сказал Тарзан в защиту Нахше.

– А тебе какое дело? – выскочил на него Кебаб. – Ты сам прикончил хоть одного араба?

И то правда. Тарзан был способен убить араба разве что в бою. Его богатырское тело скрывает трепетную душу, и это очень его смущает.

– Ты еще помнишь, – мечтательно произносит Кебаб, – как мы захватили Абу-Шубака? Нет, тебя там не было. Это когда я был еще в первой роте. Надо было прикончить всех мужчин старше пятнадцати. А эти придурки-арабы даже не бежали. Они нас еще не знали. Я зашел в дом и выволок какого-то дядьку лет под пятьдесят. Пацанка лет пятнадцати вцепилась в него и визжит, чтобы я ему ничего не сделал, потому что это ее папа.

– Ну, и что ты сделал? – сгорает от нетерпения Цуцик.

– Я передал отца другому солдату и вернулся в дом с девочкой. Сперва она брыкалась и укусила мне руку. А когда я направил на нее автомат, притихла. Была страшно грязная, а всё, как у молодой бабы. Жаль, пришлось ее прикончить.

– Ты что? Убил ее? – Цуцик, кажется, разочарован, будто он надеялся когда-нибудь встретить эту девушку.

– Мерзость, – заметил Тарзан. – Или это считается героическим поступком?

– А что мне было делать? – защищается Кебаб – Ты знаешь, кто у нас был тогда командиром роты? Ади. Осел. Вообще-то свой парень, но в таких случаях становился просто

бешеный. Перед каждой операцией клялся, что застрелит всякого, кто только прикоснется к женщине. Нам было приказано убивать только мужчин. Если бы та девчонка побежала к нему, он бы отдал меня под трибунал.

– Я бы так не сделал, – отозвался Тарзан. – Оттрахать девчонку, а потом ее застрелить? Это слишком.

– Святого из себя строишь? – окрысился Кебаб. – Не заливай мне баки. Перед каждой атакой у вас в голове только, как бы натянуть арабку.

– Теперь не будет случая, – огорченно сказал Цуцик. – Они все бегут перед нами, а если кто-то задержится, так только как та старая бабка в Дабе.

– Как она подскочила, когда Нахше зарядил ее свинцом, – смакует воспоминания Кебаб. – Из такой пушки можно прошибить трех ослов одной пулей.

Нахше любовно посмотрел на свой люгер.

– Сперва хотели сбыть мне маузер, но когда я увидел это шутку, сказал: «Давайте мне его, или дела не будет».

– Дурак ты, – отозвался Джамус. – Маузер лучше. Я бы свой маузер на три таких не сменял.

Джамус завидует Нахше. Тот был первым, кто в роте обзавелся пистолетом: от него пошла эта мода. Однажды он вернулся из увольнения с громадным маузером, который висел на штанах и чуть не стаскивал их вниз. Сказал, что подарили ему эту штуку в кибуце, но мы не сомневались, что он ее спер. Вся рота только и говорила об этом маузере, пока не появился Нахше с люгером, и все тут же согласилось, что люгер куда внушительней.

Тогда началось пистолетное соревнование. Ходить без пистолета стало в нашей роте чуть ли не позором. У комбата не было пистолета, и у его заместителя тоже. Но почти все, кто чином пониже, со временем обзавелись пистолетами. Одним из первых был Тарзан: из его ржавой штуkenции стрелял наверно еще Мафусаил. Последним приобретением был сверкающий уэбли Нехемии, который унаследовал Санчо, когда Нехемию ранило. Не имело значения, так ли хороша пушка и откуда она взялась, если пули у нее вылетали из дула с адским грохотом. Тогда уж точно все будут трястись от страха перед ее владельцем.

Осталось и несколько обездоленных беспистолетных пролетариев. Часть из них покорила судьбе, делая вид, что эти цацки им ни к чему. Но для Цуцика отсутствие пистолета стало трагедией. День и ночь он грезил о минуте, когда его рука сожмет такое оружие. Едва завидев брошенный и еще не разграбленный дом или труп с еще не обчищенными карманами, он загорался надеждой. Но арабы, очевидно, решили досадить Цуцику. Перед смертью они наверняка проглатывали свои пистолеты. Даже улепетывая из домов, они прихватывали с собой эти игрушки.

На пошлой неделе Цуцик, наконец, обзавелся пистолетом. Кебаб рассказывал, что Цуцик его купил. За двадцать пять лир, которые получил от отца.

Сейчас он достал свой пистолетик из штанов.

– Только дураки таскают с собой большие пушки, – храбро заявил он, не в силах скрыть зависти. – А я предпочитаю маленькую удобную штучку.

У него миниатюрный РВ калибра 7,65 миллиметра. Старая модель времен Первой мировой войны.

– Кислый виноград, – презрительно замечает Нахше.

Цуцик оскорблен до глубины души.

– Всё, что надо, сделает. Могу уложить ей кого угодно.

– Этой малявкой? – громко расхохотался Кебаб. – Выбьешь зуб у мухи.

У Кебаба особенный смех: его лицо вытягивается, как для поцелуя, и остаются на нем только зеленые глазки.

– Сейчас покажу тебе! – закипает гневом Цуцик. – Я уложу им первого араба, который нам встретится.

– Плачу пять грушей за каждого араба, которого ты свалишь этой цацкой.

– А я – десять! – повысил ставку Кебаб.

Все гогочут. Цуцик – ходячий анекдот. Если бы не война, кропал бы он диссертацию о евреях-литваках девятнадцатого века. А пистолет ему совсем не идет – не то, что Джамусу или Тарзану. Не в его характере. Не смеялся только Цуцик и взирал с ледяным лицом.

– Не кипятись, – стал успокаивать его Нахше. – Пошли, выпьем.

– В борделях пьют коньяк.

– У них здесь должен быть коньяк.

Официант сидел за прилавком и раскладывал чеки.

– Эй, друг! – позвал его Нахше.

– Что вам угодно?

Официант осчастливил наш столик своим появлением.

– Тащи сюда коньяк! – потребовал Нахше.

– У нас нет коньяка. По приказу штаба распитие спиртных напитков в лагере запрещено.

Пиво – по частному заказу.

– Не читай нам лекцию! Вот тебе лира, – помахал Нахше бумажкой.

– Хорошо, посмотрю, что имеется.

Он ушел и вернулся с бутылкой.

– Ни фига себе! – возмутился Санчо. – Целую лиру за бутылку коньяка.

– А на фиг мне деньги? Завтра всё равно будешь на том свете.

– Девоч жми, пока живой, жри от пуза, пей и попей, – продекламировал Цуцик. – Может завтра тебе копец.

– А, может, нет, – задумчиво произнес Санчо. – Может, только ногу потеряешь. Тогда тебе деньги понадобятся.

– Родина о тебе позаботится!

– Не смейся мои подштанники. Родина-мать даст тебе медаль и подсрачник.

– Чтоб я завтра хоронил ваши вонючие трупы! – пожелал нам Кебаб. – Спорю на лиру, что приму эту бутылку не отрываясь от горлышка.

– Грабеж среди бела дня! – возопил прижимистый Санчо. – Хватит с тебя и двадцати грушей.

Он никогда не упускает случая поторговаться.

– Пошел ты в задницу! Ни один пес не примет полную бутылку меньше чем за пол-лиры.

– Тогда не пей, – отступился Санчо.

Вдруг у него возникла идея:

– Если каждый из нас заплатит по шиллингу, то вместе выйдет пол-лиры.

– Пойдет, – согласился Кебаб.

Мы смотрим на него, как на скаковую лошадь. Он уже выпил две бутылки пива на пустой желудок. Мы, правда, перекусили в Реховоте на пути из Дабы, но так, на один зуб. Гражданские живут впроголодь. Он окосеет с полбутылки, и будет смех.

Жидкость исчезала в его глотке. Сперва большими быстрыми глотками. Потом глотки стали медленней. Всё мельче и медленней. Воцарилась полная тишина. Даже авиаторы за соседним столиком молча следили за бутылкой. Уже после первой трети стало ясно, что Кебаб сдает. Было видно, что он не вылакает и половины.

– Ты солдат или девочка, – попытался подбодрить его Нахше.

– Ну, ну, давай, дави ее! – кричал Цуцик, как на спортивном зрелище.

Кебаб напрягся, втянул несколько крупных глотков, дошел до половины, потом до последней трети, и сдался.

– Э-э-то не-не ко-ко-ньяк, – проклацал он, – э-э-то с-с-са-ки.

Мы распили остаток. Бутылка двигалась от уст к устам, согревая наши сердца. Цуцика с четырех глотков разобрало, как от десяти фужеров.

– Я из вас всех дух вышибу! – грозил он, размахивая пистолетиком. – Всех вас на тот свет отправлю!

– А почему бы тебе не вызвать Кебаба на дуэль? – предложил Нахше.

Кебаб был как раз в том самом настроении, вытащил свою пушку и заслал в нее патрон.

– Держите его, он пьяный! – в ужасе заорал Цуцик.

Мы рассмеялись и встали. Время ехать назад.

* * *

В ту ночь Кебаб не давал никому глаз сомкнуть. Во-первых, его до десяти утра выворачивало. В жизни не видел столько блевотины. Мы уложили его в окоп и думали, что он будет там спать круглые сутки. Не тут-то было! С полуночи он завел монолог, как в бреду. Но не произносил слова, а пел свою речь на одной нудной ноте. Будто молился в синагоге или читал Коран по радио. Пропев два-три стиха, он надолго замолкал, а потом следовало такое же продолжение.

– Я был ге-е-ро-ем, – нараспев сетовал он, – а те-е-е-перь я трус!

Долгая пауза. Мы с интересом ждем продолжения. Как в кино. Только Цуцик дрыхнул.

Мы и так знали, что в глубине души Кебаб – трус. Большинство людей, хвастающих своими прегрешениями, хотят скрыть страх. Случаются, конечно, и отчаянные храбрецы, вроде Нахше, но они не хвастают.

– Мой ку-у-у-зин – ге-е-е-рой, – тянет Кебаб. – Он убил трех а-а-нгл-и-и-ч-а-а-н, когда был в «Ле-е-е-хи».

Постепенно нам это стало надоедать. Завтра у нас дальний патруль, и мы хотим спать.

– Моя Ми-и-и-и-риам спит с моим ку-у-у-зином, – всё громче повествует Кебаб. Скоро он расплатится. – Она сп-и-и-и-и-ит с нам в парке Ха-а-ад-а-а-ша.

– Ну и черт с ней! Заткнись! Никому не нужна твоя несчастная любовь.

– О, М-и-и-и-и-риам, мо-о-о-о-я М-и-и-и-р-и-а-а-м, зачем ты меня бросила? Я трус, а мой ку-у-у-зин св-и-нья-я-я!

– Хватить, закрой пасть, – заорал Нахше.

– Отнесем его подальше в посадку, – предложил Санчо.

– Нельзя его просто так оставить там одного.

– Тогда пусть Цуцик с ним остается.

Цуцик не спал и согласился. После такой выпивки он уснул бы и рядом со стреляющей гаубицей.

– Я хочу к Ми-и-и-и-риам, – поет Кебаб, пока мы тащим его в апельсиновую посадку. – Почему ты спишь с моим ку-у-у-зи-и-и-ном?

* * *

Нам дали поспать до полудня. Навернув приличный обед, мы вышли в патруль. Кебаб пошел с нами. Он протрезвел и ничего не помнил о прошлой ночи. Когда мы рассказали ему, он расхохотался, как если бы мы его морочили.

Мы выехали на трех джипах. Перед отправлением кто-то прочел отпечатанный на машинке листок. Грузим на машины тяжелые пулеметы и слушаем вполуха. Это нам давно известно.

«Необходимо воспрепятствовать возвращению перешедших границу арабов для сбора урожая... Все люди и животные подлежат уничтожению... Амбары сжигаются...»

Пейзаж просто фантастический. Яркое солнце не жгло. Скинули гимнастерки. Вопреки всем приказам, на нас были шорты. Ни один приказ не одолеет нашего девиза: «Воевать и умирать – с удобством!». Шанс погибнуть в таком патруле невелик: разве что в дорожной аварии. Феллахи, которые иногда прокрадывались, чтобы собрать хоть часть своего урожая для голодных семей – ну, какие из них вояки? Появляются они поздно ночью, а с рассветом исчезают. Днем они нам вряд ли встретятся.

У ворот кибуца нам навстречу встал старик и назвался скаутом.

Проехали через Дабу. Старуха, которую вчера застрелил Нахше, так и сидела перед домом, откинувшись на дверной косяк. Она уже стала пованивать. Проулок наполнила сладковатая тошнота. Без этого запаха никто бы и не догадался, что старуха уже покойница.

На краю деревни несколько больших амбаров. Здорово – хоть что-то можно поджечь. Если не философствовать, чудная забава! Нужен опыт, который может дать только хорошая практика. Поджигать нужно с подветренной стороны, но и тогда нет уверенности, что вся постройка сгорит. Впрочем, если сгорит только часть, можно будет завершить дело в другой раз.

Через четверть часа все двенадцать амбаров запылали. Отличная, просто радующая глаз картина. В такие минуты можно понять Нерона, наблюдавшего, как горит Рим.

Раззадорившись, Джамус и наш гость из кибуца подожгли несколько соседних лачуг.

Вперед. Нам нужно обработать холмы в направлении деревни Ромаджел. Проезжая через третий холм, мы увидели впереди осла, а ослы никогда сами по себе не гуляют. Значит, где-то здесь должны быть люди. Бобби, наш юный командир роты, подгоняет нас вперед, но Цуцик уже вытащил пистолет и соскочил с джипа. Мы с любопытством наблюдаем за ним. Разве можно убить осла из такой крошули?

– Не подохнет, – пророчит Кебаб.

– Вот посмотрим, – неуверенно добавляет Санчо.

Цуцик осторожно приближается к ослу и с расстояния одного метра стреляет ему между глаз. Четвероногое подняло голову и уставилось на Цуцика почти с жалостью. Мы хохочем, а разъяренный Цуцик всаживает вторую, третью, четвертую, пятую пулю в голову осла. Тот и ухом не ведет.

– Отойди! – кричит Кебаб, поднимая винтовку.

Других тоже охватил кровожадный зуд. Два автомата и пять винтовок всаживают в животное груз свинца. Еще мгновение осел стоит, а потом невозмутимо падает.

* * *

Контрабандисты, вероятно, далеко за вторым холмом. Мы гонимся за ними.

За холмом стоит верблюд.

– Подожди! Дай мне! – кричит Нахше и направляет винтовку.

Он считает себя снайпером. Вторая пуля попала верблюду в шею. Вырвалась длинная струя крови и бьет неутрачивающим фонтаном. Верблюд смотрит на нас скорбными глазами. Его передние ноги начинают медленно складываться, а за ними – задние. Очень неспешно, как в медленном танце.

Нет ничего печальнее умирающего животного. Оно смотрит на вас, будто силясь понять, что мы с ним сделали, но не может. А сами-то мы понимаем себя?

* * *

Прочесываем пшеничное поле. Мы знаем, что арабы где-то тут. Им осталось только тихо прятаться. Ну, вот! Шевельнулось что-то белое. Мчимся туда со всех ног. Два араба!

– Встать, собаки! – визгливо выкрикивает Кебаб.

Он обшаривает их карманы, находит в одном изящный кинжал и берет его себе. Еще один сувенир. Арабам лет по пятьдесят-шестьдесят. Стоят с дрожащими коленями, по лицам струится пот. Они пытаются улыбнуться, но лица перекашивает гримаса.

Дурачье! Зачем они повязали головы белой куфией? Их сразу видно.

Джамус задает обычные вопросы. Они из Дабы и бегут в Бейт-Джибрин. Им нечего есть. У них жены и дети. Они пришли сюда набрать немного зерна.

Они еще что-то объясняют заплетающимся языком, а Кебаб заряжает винтовку. Рассудок у них совсем помутился. Они бормочут что-то бессвязное, и смотрят на нас глазами, полными страха.

– Дахилкум! Ма биднаш намут! Ма биднаш намут! – Помилуйте! Не убивайте нас!

Они не хотят умирать, но знают с жуткой определенностью, что их сейчас убьют. Они говорят, не умолкая, в отчаянной надежде, что, пока они говорят, ничего с ними не случится.

Кебаб поднял винтовку. Один из них упал на колени и схватил его за руку.

– Милостивый господин! – пронзительно вопит он.

Я в жизни не слышал такой мольбы и стонов.

– Эй, смотри, что там! – кричит Цуцик.

На другом конце поля вскочил и бросился наутек араб. Мой джип гонится за ним.

Болван! Лежал бы тихо в пшенице, и мы бы в жизни его не заметили. Еще не успели его догнать, когда сзади раздались два выстрела.

* * *

Араб понимает, что никаких шансов у него нет, останавливается и поджидает нас. Он спокоен и отвечает на вопросы ровным голосом. Его зовут Ахмед. Он из Дабы и хорошо знаком с людьми из соседнего кибуца.

– Это правда, – подтверждает присоединившийся к нам кибуцник. – Я его знаю. С ним всё в порядке. Даже хотел продать нам немного земли.

Бобби, командир роты, в нерешительности.

– Может быть, возьмем его как пленного? – неуверенно спрашивает он.

Но Кебаб уже подбежал к нам. Его не унять.

– Мальчишка, – хохочет он.

Убийственный аргумент. Бобби всего девятнадцать. Он на шесть или семь лет младше большинства из нас, и очень к этому чувствителен. Он действительно славный парень и не любит таких вещей, но боится выглядеть размазней и вести себя не по-мужски. Командир, к тому же...

Араб улыбается пугающей кривой ухмылкой человека, чью судьбу решают в этот миг, и надеющегося, что спокойное выражение его лица умилюет судей. Но улыбка лишь раздражает Кебаба.

– Чего лыбишься? – орет он на него. – Инта бимут! Сейчас подохнешь.

– Иншалла. - На то Божья воля, – отвечает араб.

Кебаб заряжает винтовку. Я хочу отвернуться, но не могу. Меня мутит.

Бог ты мой! Неужели я никогда не привыкну к такому зрелищу?

Тарзан тоже побледнел. Кибуцник открывает рот, будто собираясь что-то сказать, но ничего не говорит. Он знает, как знаю и я, что тут ничем не можешь.

Цуцик хватает Кебаба за руку.

– Дай мне! – кричит он. – Я хочу проверить мой пистолет!

Его лицо мальчишки-школьника покраснелось, пистолет дрожит у него в руке.

– Отвали на фиг! – двинул его прикладом Кебаб.

– Но ты уже убил двоих, – не отстаёт Цуцик.

Он требует соблюдения своих прав. Кебаб ворчит, но опускает винтовку. Кажется, он внутренне согласен, что справедливо уступить Цуцику его долю. Цуцик поднимает свою кроху. Араб смотрит на него.

– Кругом! – истерически выкрикивает Цуцик писклявым голосом.

У него не хватает решимости выстрелить в жертву, глядя ей в лицо. Араб стоит, не шелохнувшись. Его лицо застыло в безграничном спокойствии, будто он уже заключил мир с Господом. Презирает ли он нас? Он даже не закрыл глаз.

Цуцик делает два выстрела. Араб падает на спину и слабо стонет. Тело его подергивается.

– Придурок, – говорит Кебаб и отвешивает Цуцику оплеуху, от которой тот чуть не валится на умирающего.

Кебаб берет винтовку, прикладывает дуло к голове араба и стреляет. Череп разлетается на куски, и на землю вываливается что-то белое. Тело перестает двигаться.

Кебаб выбрасывает расстрелянную обойму и дико хохочет. На лице у него написано удовлетворение человека, успешно выполнившего свой долг.

– Видел? – подначивает он Цуцика. – Выбрось свою цацку. Тут нужна винтовка.

Захват деревни – как в кино!

Я посмотрел на часы. Без десяти четыре. В четыре Рахель сделает мне два укола. Через десять минут. Через шестьсот секунд, шестьсот хриплых вздохов человека на соседней койке.

Да закончится же когда-нибудь эта ночь?

Шесть минут... Через шесть минут решится исход битвы. Десятки человек погибнут, сотни будут ранены. Атака джибов на позицию 125. Этот бой, решающий для всего фронта, длился меньше шести минут. За эти шесть минут родители Нино утратят смысл своей жизни, а Пинхас навсегда останется калекой. За эти шесть минут выбило из колеи ход жизни многих семей. Сколько можно было бы написать об этом книг – об этих семьях. И в них описать их жизнь дважды: в первый раз, как если бы этих шести минут не было, а потом – как она шла на самом деле. Молодая женщина из египетского городка Дамиетта не выйдет замуж за павшего в бою капитана, а Пинхас никогда не станет чемпионом среди израильских бегунов на длинные дистанции, и никто никогда не споет песен, которые сложил бы Нино, если бы не погиб в том бою. Пройдет какое-то время, и его невеста почти забудет, что чуть не вышла замуж за композитора.

В каждом сообщении о сражениях перечисляют потери: оружие и боеприпасы, погибшие и раненые. Но кто учитывает другие потери? Несложную музыку, ненаписанные книги, несделанные открытия – и всё лишь потому, что тот, кто мог достичь чего-то в жизни, был сражен пулей ценой в два пенса?

Мы вспоминаем гениев: Бетховена, Шекспира или Пастера. Сколько Бетховенов полегло в могилах Вердена? Сколько костей Кюри сгнило на склонах Монте-Кассино? А новый Эйнштейн запутался в колючей проволоке у Ирак-аль-Маншия или Бейт-Аффа...

Родители того солдата, который лежит на соседней кровати, должно быть спят крепким сном, не зная, что их сын борется со смертью. Им никто не сообщил. Иначе они были бы здесь на второй день после ранения, не сводили бы с него глаз или всхлипывали в коридоре. Родители рыдают, когда их сын на смертном ложе. Но тогда уже поздно. Судьба его была решена, еще когда он был весел и здоров.

Возможно в подразделении, где служил мой сосед, лежит запечатанный конверт с его собственноручной надписью: «Отправить в случае моей смерти». Такие письма иногда оставляют перед боевой операцией. Но большинство из нас этого не делало. Какой в них толк? Они нелепы и мелодраматичны. Читать их неловко. Ну, что, в конце концов, можно написать в таком письме? «Дорогие родители, если вы получили это письмо, меня уже нет в живых...» Глупость. Что вы можете сказать в нем своим родителям? «Я прошу у вас прощения за все тревоги и беспокойства, которые я доставлял вам...» или «Надеюсь, что мы вновь встретимся в лучшем мире...» Никто не верит в этот «лучший мир». А можно завершить, как сионистский некролог: «Создание нашей страны пусть послужит вам утешением...»

Но мы слишком суеверны. Мы знаем, мы убеждены, что такое письмо распахнет дверь дьяволу, и ты погибнешь в следующем бою. Мы это видели своими глазами.

Дани погиб через шесть часов после того, как сдал на хранение свое прощальное письмо. Плод воображения? А вы сядьте и напишите такое письмо, представив себя уже погибшим. Если таков ход ваших мыслей, у вас не хватит энергии, чтобы уцелеть в бою. Вами овладела робость, а робкий погибает первым – это известно каждому.

Многие говорят, что солдат «чует» близость смерти. У Дани тоже было такое ощущение, он из кожи лез вон, чтобы его взяли на эту операцию. Вздор, конечно. Перед боем солдатом может овладеть предчувствие, но он не испытывает робости. Причиной может быть просто то, что он не выспался или не наелся. У меня тоже была ночь, когда я ощутил, что погибну. До этого я не спал тридцать шесть часов. Но вышло так, что той ночью мы заблудились и не вышли к египетским порядкам. А вот в день, когда я получил ранение,

никаких «предчувствий» не было. Я отправился в тот патруль так же просто, как пошел бы в нужник или на развод перед каким-то неприятным, но привычным заданием.

Чертов патруль. Почему нам не выдали автоматического оружия? Почему нас вообще послали в этот район среди бела дня?.. Хватит! перестань думать об этом, а то рана опять разболится.

Где же Рахель? Уже пробило четыре. Рахель, ну, подойди, пожалуйста!

* * *

Вот и она, свежая, улыбающаяся. Понять не могу, как это ей удастся – всегда с улыбкой. Привычка? Нет. К такому не привыкают. Это ее профессиональный доспех: «На мне белый халат. Я – медсестра. Я должна быть всегда спокойна!»

– Как спалось?– улыбается Рахель.

– Глаз не сомкнул.

– Ты вредный-вредный-вредный мальчик, – отчитывает она меня.

– Да, мамочка.

– В наказание мама сейчас сделает тебе два укола.

– На моих ногах уже места не осталось.

– Мама всегда найдет место.

В прежние времена мужчины влюблялись в женщин, которые хорошо готовили и вязали носки. Достойных, целомудренных, игравших на пианино и говоривших по-французски. А я влюбился в Рахель за ее искусство делать уколы

– Теперь моя деточка будет крепко-крепко спать.

– Тогда ты престанешь делать мне уколы?

– Нет, укол будет твоей наградой.

– Но я не могу заснуть. В самом деле.

– Тогда я спою тебе колыбельную. Хочешь?

– Спой.

– Что бы ты, мой маленький, хотел услышать?

– Что-то хорошее, там, где нет войны.

– Хорошо, я спою тебе песню о девушке с зелеными глазами.

– Нет, не надо этой.

– А почему?

– Не важно. Лучше поцелуй меня.

– А что ты хотел бы получить от старушки вместе с поцелуем?

– Просто поцелуй без ничего.

Очень осторожно она отводит в сторону трубку, которая ведет к моему носу, и ее ротик касается моих губ.

– Моя милая куколка!

– Не смей так разговаривать с медсестрой!

– Подожди только. Когда я выберусь отсюда, ты узнаешь, что такое настоящий поцелуй!

– Самый настоящий?

– Да! Четверть часа: по пять секунд за каждый твой угол.

– Тебе не стыдно?

– Ты бы предпочла ставить уколы невинному младенцу?

– Мой бедный малыш. А сейчас, спатки!

– Не могу.

– Осталось всего два часа.

– Всего!

– Ты плохо себя ведешь. Я тебя поцеловала, а теперь ты должен спать.

– Буду стараться, мамочка.

Ее легкие шаги исчезли. Кто-то храпит в большой палате. Песня, песня... Что она хотела мне спеть? Зеленые глаза... Нет, только не эту!..

* * *

Зеленый свет в твоих глазах,
Два бесподобных изумруда.

* * *

Я методично намыливаю свое тело, как бывалый солдат. Мою и ополаскиваю каждую его часть. Я знаком с армейскими душами. В самый ответственный момент вода в них может кончиться. Нахше один раз стоял под душем, весь намыленный, когда перестала течь вода. Пришлось нам собирать бутылки с водой по всему лагерю. И те перлы, которые сыпались у него изо рта, могли бы послужить основой для словаря ругательств лингвистической академии.

– Привет, друзья! – ввалился Джокер.

Он раздевается, потягивается и пробует воду на ощупь осторожным пальцем.

* * *

Ищу мгновение покоя,
Избавь меня от сладких мук.

* * *

– Что это? – восторженно спрашивает Джокер.– Концерт для нас двоих?

– Это для плохих мальчиков, которые хотят потискаться в душе с Бемби, – объяснили ему.

– Исторический материализм, – хохотнул Джокер.

– Это что такое?

– Всё равно не поймете. Развитие искусства определяется внешними социальными условиями.

Джокер обычно стесняется демонстрировать свое высшее образование. Старается вести себя, как простой рабочий, которым когда-то был в Тель-Авиве. Только изредка, в самых сокровенных беседах, вдруг мелькнет в его словах университет.

– Чушь, – говорю я, пытаюсь втянуть его в дискуссию, – самое главное, это человеческая личность.

Джокер тщательно намыливается. Тем же способом что и я.

– Лошадь стоит больше десяти человек! – цитирует он.

– Что ты мелешь! – возмущается Бемби из-за перегордки.

– Очень просто, – объясняет Джокер. – Человека можно произвести за девять месяцев, а попробуй привести в этот мир лошадь.

– Ты грязная свинья, – завершает Бемби научный спор.

* * *

Зеленый свет в твоих глазах.

Н-а-а р-у-б-о-н!

При звуке этих волшебных слов всё человечество устремляется из палаток. У столовой, тоже палаточной, выстраивается огромная и страшно шумная очередь.

Дежурный, один из наших «курсантов», возведенный в эту почетную должность на двадцать четыре часа, тщетно пытается проявить свои командирские качества и навести какой-то порядок в гогочущей, хохочущей и бранящейся толпе.

Джамус и я выползаем из палаток последними и неспешно бредем к кухне безо всякой посуды.

– Просто противно смотреть, как эти люди стремятся стать в очередь, – вызывающе громко замечает Джамус.

– Стадный инстинкт, – презрительно объясняю я.

Стоящие в хвосте бросают на нас сердитые взгляды, которые мы игнорируем. Мы обходим кухонную палатку сбоку и попадаем в ее святая святых, берем предназначенную для офицеров посуду и двигаем через другой вход прямо в раздаточную, откуда первые в очереди получают свой обед.

– А! Благородные явились! – кричит кто-то в конце очереди.

Джамус мерит его холодным взглядом, но ответа не удостоивает.

– Выйдите отсюда и встаньте в конец очереди, – распоряжается дежурный.

– Шшш! Нельзя же так грубо с будущими командирами бригады, – наставляет его толстяк Джошуа. – Ваши благородия, не окажите ли вы нам честь и не уважите ли обычай нашего простонародья становиться в очередь?

Эта церемония повторяется трижды в день. Все знают, что мы не будем стоять в очереди, и все к этому привыкли. Если бы мы вдруг стали в очередь, они почувствовали бы себя обманутыми, как если бы им показали учебный фильм о ведении уличного боя без доведка из мультиков.

Вообще-то мы ничего не имеем против того, чтобы постоять в очереди. Но этим мы как бы изменили своей автороте с джипами, которую, вроде бы, представляем. *Noblesse oblige!* Положение обязывает! И никто из нашей роты в очередь не становится. Самый острый локоть получает свою порцию первым. Только иногда, когда какой-то офицер проталкивается, отодвигая солдат, мы напоминаем ему о святости очереди.

Получаем приличную порцию мяса с макаронами, суп и десерт. Джамус крутит носом:

– Опять эта дрянь? – и кладет на тарелку еще один здоровенный кус мяса.

– А чего тебе надо? – сердито спрашивает повар из-за кухонной двери.

– Я вас, сачки, знаю. Сами жрете мясо первый сорт, а нам – что останется.

– Да ты!.. – задыхается от гнева повар.

Даже колпак на его голове пришел в волнение.

– Он прав! – раздается рев очереди.

В пост на Йом Кипур нас оставили голодными, и поварам тогда отказали в симпатии. Солдаты их не любят, кроме своих поваров с передовой. А поваров-ортодоксов, отказывающихся готовить по субботам, не переносят вдвойне.

– Вы только и умеете подмешивать соду в кашу, – заявляет Джамус. – Если приедете ко мне в кибуц, я вам покажу, как надо готовить по-настоящему.

– Ты что хочешь сказать – сода? – спрашивает повар невинным голосом.

– Ты думаешь, мы не знаем, как вы подсыпаете соду в котел? – спрашивает Джамус.

Ходят слухи, что в учебных лагерях в солдатскую еду подмешивают соду или бром, чтобы угасить неутоленные желания «салаг». Никаких подтверждений не было, но опыт научил

нас верить слухам. Большинство таких параш оказывались правдой, хотя никто не знал, как они возникали.

– Конечно, сыплете – орет Мундек. – С тех пор, как я попал на этот гребаный курс, висит у меня, как тряпка.

– А он у тебя когда-то вскакивал? – щерится повар.

– Почему тогда на Йом Кипур?

– На Йом Кипур – это был перст Божий.

– Много у твоего Бога перстов...

Громовой хохот. Все рады поквитаться с поваром.

– Хотите, чтобы я доказал, что в чае есть сода? – влезает Джамус. – Слушайте. Позавчера мы проверяли в поле «Виккерсы». Заметили, что один потек. Вода для охлаждения ствола вытекала. А у нас еще оставался чай во фляжках от завтрака, и мы его туда залили. Знаете что получилось?

– Что?

– Ствол согнулся так, что уперся в землю!

Повар заморгал глазами, силясь понять шутку. Чувством юмора он не отличался. Потом до него дошло.

– У вас в башке помойная яма. Уемывайте отсюда, чтоб другие поели!

В палатке одна тема для разговоров: наступление, начавшееся четыре дня назад по всему фронту. Тех из нас, кого направили на курсы для командиров взвода, считали ценной живой силой. Поэтому нам до окончания курса не разрешили принимать участие ни в каких боевых операциях.

– Только сука может торчать здесь на занятиях, когда там дерутся, – возмущался Мундек.

Он стал на курсах знаменитостью, когда громко захрапел на лекции по баллистике.

– Если они нас скоро не выпустят, не останется никого, кто мог бы показать египтянам!

– На фиг эти курсы? Лучше быть простыми солдатами.

– Сперва мы сделаем грязную работу, а потом новые иммигранты станут победителями за наш счет.

Я взглянул через плечо. Наши командиры сидели за столом, молча жевали и делали вид, что ничего не слышат. Они тоже предпочли бы вернуться в свои части. Но дисциплина – есть дисциплина.

– Смотаемся сегодня? – шепнул Джамус.

– Если хочешь отдать концы, можешь идти.

Со вчерашнего дня Джамус подбивает всех скопом уйти из лагеря.

– Слушай, – шепчет он. – Не возьмем ничего. Только винтовки, патроны, туалетные принадлежности и каски. Обмундировку можно оставить здесь.

– Как ты найдешь батальон? Ты ведь даже не знаешь, где проходит фронт.

– Какая разница. Как-нибудь доберемся. Выйдем на дорогу, а там – на интендантской попутке.

Джокер проглатывает обед быстрее всех и закуривает и, потирая свой длинный нос, ударяется в философию.

– Почему вы вдруг стали такими героями?

– Не трепись, – раздражено отвечает Джамус. – Просто приятнее гонять по полям на джипе, чем ползать среди колючек.

– И всё? – недоверчиво переспрашивает Джокер.

– Не всё. Как мы посмотрим в глаза Тарзану, Нахше и всем другим, если мы здесь валандаемся, а их могут убить в любую минуту?

– Сколь благородны ваши чувства, – насмехается Джокер. – Можно подумать, что вы полюбили войну!

– Идиот! – сплевывает Джамус в непритворном гневе. – Я ненавижу войну не меньше тебя, но если ты в одной части с товарищами, нельзя валяться в чистой постели, когда другие идут в бой.

Я его понимаю. Один раз, когда рота была в лагере, я смотался на ночь в самоволку в Тель-Авив. Когда я вернулся на следующий день, то узнал, что ребят подняли по тревоге, и Китаец, наш командир, получил пулю в голову. Никто из взвода ничего мне не сказал, но глядели на меня так, что я чуть не застрелился.

– Ты себя обманываешь, – продолжал философствовать Джокер. – Ты знаешь, точно так же как и я, что настоящая причина не в этом. Во всяком случае – не единственная причина. Правда в том, что мы уже подсели на войну. При запахе опасности мы начинаем часто дышать, как кобель на сучку в течке. Полдня на фронте – и мы уже клянем войну и молимся о перемирии. А когда вернемся, нас опять тянет на передовую.

– Может быть, – спокойно соглашается Джамус.

– Вроде душевной болезни, – развивает мысль Джокер. – Она началась еще в школе.

– Но здесь ты вообще не ходил в школу, – вмешиваюсь я.

– Какая разница? Я ходил в школу в Румынии, Джамус – в Египте, а ты – в Палестине. Но мы выросли в одно время. У каждого блядского народа есть свои легенды о героях, генералах, маршалах, история войн и побед. Мальшню учат, что война – это прекрасно и романтично. А прекраснее всего – умереть за родину. Каждая паскуда, которая убила сто врагов, получает памятник и страницу в учебниках истории.

– А не изменить ли тебе мир? – предлагает Джамус.

– Пусть этот мир катится к ядерной матери. Если бы у меня будут дети, я никогда не пошлю их в школу. Через пять лет им станут рассказывать, что эта война была великим свершением, и они должны молиться о том, чтобы принять участие в такой войне.

– У тебя не будет детей, – утешает его Джамус. – Потому что на следующий день после войны, когда ты пойдешь на прогулку по улице Алленби, тебе на голову свалится кирпич и вышибет из тебя мозги.

– А я пойду на твою могилу и справлю на ней нужду, – добавляет Джокер.

Тут палатка замолкает, и даже Шабтай перестает жевать.

Входит командир курсов. Он только что вернулся из штаба бригады.

– Слушайте, бойцы, – обращается он к нам с довольной улыбкой. – Прошлой ночью наша бригада взяла приступом дорогу в Негев! Египтяне сдались в Маждале.

– А мы здесь развлекаемся, – громко бормочет Мундек.

– Заткнись! – гавкает на него командир. – Приказ по бригаде. Быть готовыми через два часа. Всем почистить оружие. Экипируемся для двухнедельной операции. Вещи и матрасы сложить в комнате культуры. Выступаем в шестнадцать ноль-ноль.

Зеленый свет в твоих глазах,
Два бесподобных изумруда.
Ищу мгновение покоя,
Избавь меня от сладких мук...

* * *

Бэмби и я отправляемся на объезд позиций. Пообедали рано: повара готовятся к большой операции. В деревне появились киношники, военные корреспонденты, кто-то из ведомства культуры и зеваки всех мастей. Мы должны были разыграть для них захват деревни. Для большего эффекта представления подожгут три дома. Всей обслуге курса – поварам, шоферам, дневальным по столовой – выдали винтовки и гранаты. Именно им предстояло художественно захватить деревню к восторгу зрителей.

– Во, веселая житуха пошла! – каркнул Бэмби, наблюдая за спектаклем издали.

На одном из поваров был тюрбан, в котором ему надлежало изобразить пленного египтянина. Оператор объяснил поварам во всех подробностях, как им захватить деревню. Вести огонь сразу из всего оружия: винтовок, автоматов, пистолетов.

– Если бы у них была пушка, они бы и из нее стрельнули, – критически заметил Бэмби. – А потом покажут всему миру, как наши герои сходу овладевают территорией. И тыловые вояки в Тель-Авиве будут хлопать в ладоши. Паскудство!

Забираемся на высотку, забыв о тащившихся сзади киношниках. Перед нами широкое поле и на нем с восемь десятков египетских трупов.

– Вот вонища! – сплюнул Бэмби.

Подходим. Позавчера здесь разыгрался один из самых гнусных боев этой войны. Дрались кинжалами, ножами и ногтями. Четыре раза высотка переходила из рук в руки. На следующее утро мы похоронили несколько десятков павших, а трупы египтян просто сдвинули подальше, чтобы не портили воздух рядом с нашими позициями. Кого-нибудь пришлют сюда хоронить: мы этого делать не станем ни в коем.

Зачем мы идем смотреть на мертвых? Могли бы и обойти это поле. Тошнота сводит животы, но нам нужно взглянуть. Мы, как обезьяны, замороженные удавом: знают, что удав их сожрет, но не в силах пошевелиться. Мертвые валяются в разных позах. Один закрыл лицо, будто чтобы не видеть кинжал, которым его проткнул. Другой свернулся, как еж.

В кино эти трупы не покажут. На экране будут, не мертвецы, а неподвижные живые люди. Мертвецы вообще не похожи на людей. В них чего-то недостает. Религия называет это «душой». «Они вернули свои души Господу...» Вдруг мне вспомнилась эта фраза. Если так, то у Господа весьма странный способ получать назад сотворенное им.

– Что там? – вдруг в ужасе завопил Бэмби.

Вставал мертвец. Пронеслась тень страха из детской волшебной сказки. Нет, не привидение. С земли поднимался Джокер с ножом в руке. Весь красный: мы видим, как ему неловко.

– Ты рехнулся? – Бэмби, конечно, думает, что он сошел с ума. – Что ты тут делаешь с мертвецами?

– Й-а, й-а, я, – заикается он.

Теперь я понял, что он кромсал ножом толстого египтянина.

– Пошли отсюда, я объясню.

Джокер быстро пошел прочь, и мы проследовали за ним пару сотен ярдов. Нам противно. Мы любим Джокера и не можем понять, что на него напало. Да он последний среди нас, кто стал бы кого-то мучить, тем более хладнокровно убивать!

– Так-так, – запинаясь он. – Я не знаю, говорил ли я вам. В Румынии я стал учиться медицине. Это давно было... давно. Еще до немцев. Я хотел стать врачом. Семья у нас была зажиточная. Понимаете, когда пришли нацисты... я убежал. Я был с партизанами... потом с Красной армией... потом в еврейской бригаде: она тайно доставила меня в Палестину. Конечно, у меня не было денег, чтобы учиться дальше... и я не знал иврита. Поэтому я стал разнорабочим... таскал ящики на фабрике... Только иногда опять хочу учиться... А тут лежит столько тел... Просто хотел проверить, помню ли я еще что-то из анатомии...

Он достает грязный платок из кармана и вытирает потное лицо. На землю упала блестящая бляшка. Золотой зуб. Джокер опять покраснел.

– Увидел на трупе... Ему он больше не нужен...

– Ладно, – сухо подвел итог Бэмби. – С чего на тебя мандраж напал? Вон там мертвая баба лежит.

– Она была с египтянами, – объясняет Джокер. – Никто не знает, что она тут делала... Кто станет такую насилловать?

Женщина лежала на спине. Ее убили выстрелом в грудь. Мухи вокруг черных глаз.

В деревне началась неистовая суета. Час назад из бригады пришел приказ передислоцироваться на первую позицию в полукилометре к западу, на следующей гряде холмов. Поэтому меня освободили от обязанностей посыльного, и я вернулся в свою роту. Все укладывались, и все были злы.

Приказы о передислокации самые ненавистные. Они бессмысленны. Роешь окопы, передвигаешься на сто метров и опять роешь окопы. Штабист просто передвинул палец с одной точки карты на другую, а для солдат это целый день и ночь работы: перетащить снаряжение, отрыть окопы, снять и опять растянуть колючку.

Мы как грузовые мулы. На спине я тащу рюкзак со всем скарбом для «двухнедельного развертывания» и винтовку. На ремне – сто патронов, три ручные гранаты и складная лопатка. Голова втиснута в стальной шлем, а в каждой руке – по ящику с бронебойными снарядами. У других – ящики с боеприпасами, коктейлями Молотова, автоматами, минометами и запчастями.

После первых пятидесяти метров мы уже выдохлись и шатаемся, как пьяные. Строй рассыпался, и командиры мечутся, стараясь навести хоть какой-то порядок и расшевелить спящих на ходу.

– Ты вроде командир отделения. Я бы тебя и за рядового не признал...

– Эй ты! Качаешься, как кура-несушка!

Несмотря на холод ночи, с нас течет пот. Всё нестерпимее желание бросить к черту этот груз, и нужна сильная воля, чтобы не поддаваться искушению.

– Герои! Вы ведь сами хотели на фронт, – ворчит Джокер.

– Только бы добраться до наших джипов. Там мы опять будем короли, – отвечает Джамус.

Марш на это короткое расстояние занял несколько часов. К полночи мы, наконец, добрались до «своей» позиции. Услышав, что это наше место, бросаем всё и сами валимся на землю.

– Развалились, как суки после работы – орет комроты. – Слушайте: к утру вы должны быть готовы отразить египетскую атаку. Круговая оборона. Сейчас покажу каждому его позицию. Чтоб окопы были как на картинке. Покажите, что вы чему-то здесь научились. Один окоп на двоих и между ними ходы сообщения. Отдельные окопы для пулеметов. Завтра растянете колючку вокруг позиции. Слушай! Подъем! Бог вашу...

– Этот всю душу вытрясет, – ворчит Мундек.

Но мы встаем и беремся за лопатки. Окоп на двоих – изобретение нашего чертяки. Если роешь окоп для себя одного, можешь сделать его таким, как хочешь. Но если роете вместе, каждый смотрит на напарника, не сачкует ли он за твой счет.

«В твоих глазах зеленый свет...» – напеваю я про себя, лежа на спине, опустив голову на деревянную колоду. Глаза шарят по занятому египтянами району. Джамус и я вызвались проторчать весь день на наблюдательном посту в виноградничке, в нескольких метрах от колючки. Тишина и покой.

Пару часов я читаю книжку английских рассказов. Они занимают всё мое внимание. Иногда я отрываю от книги глаза на территорию. Не на что там смотреть: только деревня, жители которой бежали, когда мы заняли Бар-кохбу.

Джамус тоже читает английскую книгу. Почти все мы читаем по-английски, а те, кто знает только иврит, читает дрянные романы в переводе. Ни разу не видел, чтобы кто-то предпочел книгу израильского писателя. Видно, нет в них ничего интересного для молодых. Если бы эти писатели побыли с нами в боевых частях, сразу бы поняли, как пусты и выспренни их творения.

– Пошли похезаем, – предлагает Джамус.

– Не хочу пока.

Одиночество прекрасно. Особенно ощущаешь это в армии, где ты никогда не остаешься один. Еда, сон, умывание и любовь – всё на глазах у других. Какое блаженство остаться одним – два полуголых человека в винограднике растянулись под теплым солнышком, не шевельнув пальцем! Величайшее наслаждение в жизни.

– Очень странно, – размышляет вслух Джамус.

– Что странно?

– Две недели назад мы с ума сходили, чтобы сюда попасть.

Две недели назад? С тех пор мы почти ничего не сделали – вели наблюдение, ходили в караул, рыли окопы. Мутит от всего этого. Фронт, война во всей своей славе. Но назад на курсы нам тоже не хочется. Занятия, чин комвзвода. Чего ради? В жизни только одна настоящая цель – лежать, разомлев, на солнышке. Мир – куча дерьма. Нет, с миром, вообще-то, всё в порядке. Это люди – дерьмо. Надо бы их всех смести и начать с начала. С обезьян...

– Посмотри, что там делается, – обратил мое внимание Джамус без особого интереса.

По дороге, оставшейся в руках египтян, километрах в двух от нас, тянулась на юг длинная колонна грузовиков.

– Направляются в Газу, – решил Джамус.

– Откуда они взялись? Я думал, что их всех давно окружили.

– Наверно нашли где-то брешь. Может быть через пляж?

Я лениво поднял подзорную трубу. Никакого сомнения – они уходят. Тяжелая техника: артиллерия, крупнокалиберные минометы.

– Надо бы сообщить в штаб...

– Зачем?

– Может быть, мы сумеем задержать их отступление?

– А мне один хрен – пусть уходят. Самое лучшее решение для всей этой заварухи. Разве в штабе сами их не увидят?

Он, конечно, прав: это самое лучшее решение. Зачем затевать бой? Чтобы убивать? Если они решили уйти – мы их молча благословим. Всё чушь и вздор: фронт, война, всё это вместе. Зачем сражаться? Зачем трудиться, если результаты сегодняшнего труда будут завтра уничтожены? Весь мир – куча дерьма.

* * *

Зеленый свет в твоих глазах
Неотразимей изумруда.

Последние слова Санчо

Он стонет. Его голова свесилась набок, как если бы ему не хватало сил держать ее прямо. Лицо стало еще темней, чем вечером, багрово-синим, как у утопленника.

Вокруг моей головы кружит неотвязный стих. «Трепещущие души...» Что это за стих? Где я слышал эту песню?

И это смерть
В его когтях трепещет.

* * *

Слова. Поэт услышал эти стоны души, трепещущей в когтях Ангела Смерти? Эти жуткие хрипы? Почему поэтам и писателям дозволено писать о вещах, которых они не знают? Почему им дозволено воспевать войну и смерть, последние муки несчастного беспомощного существа?

Торговцев поддельными лекарствами и лавочников с фальшивыми гирями наказывают. Почему же нет наказаний для тех, кто совращает наши души лживыми словами?

Комнату заполняет скрежещущее дыхание. На миг его звук нарастает, как у пикирующего самолета, и в следующий миг оно замирает совсем. В ужасе я хочу позвать сестру, но ржавый скрипучий звук возвращается, завершается долгим вздохом и новым хрипом.

Он дышит залпами – идиотское сравнение, родившееся в моем уме. Дыхание умирающего.

Я не в силах больше думать. Я вынужден слушать этот неотвязный, как звон цикады, звук. Есть ли у цикады душа? Трепещущая жалкая душонка, которая уже отжила свое, но вцепилась в ее тельце.

Шшш-ххххх-рррррррр. Он едет на развалившемся тарахтящем и скрипящем джипе. Приборный щиток джипа сделан из бумаги – из газеты, нотных листков и домашних заданий.

Стихло. Скрежет прекратился. Он уже приехал. Нет. Еще нет. Опять этот скрип. То дальше, то ближе. То дальше, то ближе. Легкий стук в окно. Может ли смерть постучать в окно? Нет, наверно. Безумные фантазии: это стучит дождь. Легкий стук первых капель. Потом они тяжелеют, и вот уже тарабанят вовсю. Стук-стук-тук-тук-тук.

Слава тебе, Дождь! Ты затопил этот стон, покрыл его своим звуком. Благословенный, утешающий дождь. Как дальний пулемет, слишком далекий, чтобы пули меня достали.

* * *

Первые капли дождя, нежные, ласковые...

Мы стояли на площади Муграби. Большой открытый грузовик ждал, чтобы отвезти нас обратно в лагерь. Стопились в три ряда под большими часами. Их стрелки ползли к полночи. Джамус выскочил и стал что-то кричать по-французски. Фанфаронит как старожил-израильтянин, а мы дрожим от холода в тонких гимнастерках. Невозможно понять, кто тут есть, кого нет. Мимо проходят штатские в теплых куртках, скользя по нам взглядом.

– Смирно! – гаркает Джамус.

Он единственный из нас, трех командиров взвода, кто умеет говорить по-французски. Поэтому он взял на себя роль сержанта, а сержант сейчас замещает командира роты, попавшего в госпиталь с искореженной гранатой рукой.

Мы провели вечер в Тель-Авиве. Без разрешения. Мы знали, что роту направят на фронт и дали возможность нашим марокканцам побаловать себя перед крещением огнем.

Жизнь у этих марокканцев несладкая. Ишув доставил их, чтобы помогли воевать. Их посылают на фронт неподготовленными, без зимней одежды, а двери в общество для них закрыты. Марокканец – нелестное слово. Достаточно парню заговорить по-французски, чтобы потерять шанс на успех у девушек в Тель-Авиве.

Никаких особенных дел в этот вечер у меня не было. Не было и желания за кем-то волочиться, и я не хотел расставаться с Джамусом. Мы сидели в дрянной кафешке и дули одно пиво за другим. Нами овладела невесть откуда взявшаяся странная меланхолия.

Может быть, из-за отрешенности нашей жизни, в которой мы отвечаем за новых иммигрантов, не умеющих разговаривать на нашем языке?

– Трэ бьен! По машинам! – орет Джамус.

Солдаты лезут друг через друга, толкаясь и бранясь. Все хотят занять место за кабиной водителя, которая, как им кажется, немного защитит от дождя и ветра.

Рядом с водителем в кабине есть место для двоих, но мы ради укрепления боевого братства и доверия, обычно садимся со своими солдатами. Сейчас это потеряло смысл: все наши благородные принципы смыло дождем и угнетающей атмосферой. Да ну его к черту! Мы тоже мокли, когда были новобранцами. И они могут немножко пострадать.

Янек, наш третий взводный, сам полез в кузов. Вот кого нам действительно жаль. Ему дали турецкий взвод, где никто не знает польского, а он не знает ни бельмеса по-турецки.

Мы с Джамусом проталкиваемся к кабине. Нехемия заводит мотор. После госпиталя его направили в транспортный батальон, и ему чуть неловко, что он не вернулся к нам. Будто мы упрекаем его! Мало кто после серьезного ранения возвращается в боевые части. Такова уж человеческая природа, что после ранения становишься боязливым, потеряв веру в свою заговорённость. Можно быть героем, пока веришь, что пули не про тебя, но ранение разрушает такую иллюзию. Каждый, кто возвращается в боевую часть после тяжелого ранения, заслуживает медали уже за это.

– Подожди! – кричит Джамус.

– Что там у тебя?

– Я тут заметил...

Джамус – остроглазый. На углу стоит девушка и украдкой бросает на нас полные надежды взоры.

Джамус вылезает и подходит к ней. Хорошенькая круглая блондинка. Джамус горд своей находкой.

– Не хотите ли присоединиться к нашему обществу? – спрашивает он мягким голосом, прибереженным для таких случаев.

– Нет... Но может быть... Мне нужно в Сарафанд.

Несомненная надежда в голосе.

– Великолепно! – восклицает Джамус. – Мы можем подвезти вас до Ришона, а там найдете попутку.

Он накручивает усищи и ведет себя начальственно, будто стал уже командиром роты.

– Эй! – кидает он мне через плечо. – Лезь в кузов!

Сейчас я должен выполнять его приказы. У нас давнее соглашение совместно охмурять девчонок. Но наверху холодно и мокро, и я думаю, что девушка принадлежит нам обоим.

– Ммм-мммммм, – размышляет Джамус.

Выпутаться элегантно он умеет.

– Не хочу быть галантным кавалером за твой счет, – говорит он мне, и приглашает девушку. – Садитесь, а я постою на подножке.

– Вы, в самом деле, не возражаете? – робко спрашивает девушка и садится рядом со мной.

Выбора у нее нет. В такое время больше никто ее не подвезет.

– Что вы! Совсем напротив, – уверяет ее Джамус. – Это доставит мне удовольствие, и присмотрю за солдатами.

Поехали. Дорога пуста. На перекрестке Абу-Кабир по пути к Тель-Авиву хлынул ливень. Девушке неловко: джентльменское поведение Джамуса поразило ее. В те дни девушки, путешествующее в одиночку, далеко не всегда встречали столь рыцарское отношение.

– Знаете что, – предложила она. – Садитесь здесь. Тут хватит места нам троим.

– Если это не доставит вам большого неудобства, – великодушно произносит Джамус и садится. Старательно уплотняемся. Наконец, уместились: я и Джамус на сидении, девушка – на нас.

Правой стороной на ногах Джамуса, левой – на моих. Джамус подмигнул мне за ее спиной. Этот пес здорово разбирался в психологии.

Девушка смущена и пытается найти какую-то тему для разговора, которая отвлекла бы нас от слишком интимного соседства. Она ерзает, пытаясь найти положение поудобней. Мы – полностью погружены в себя, будто ее и нет..

– Вы – командир? – спрашивает она Джамуса.

Джамус делает пренебрежительный жест:

– Всего лишь командир роты, – признается он.

– Да? – восхищенно спрашивает девушка, разглядывая его во все глаза. – А почему у вас нет знаков отличия?

– Вы о погонах?

Джамус лезет в карман и вытаскивает капитанские погоны.

– Я их всегда снимаю, когда езжу в Тель-Авив. Чтобы не мозолить глаза публике.

– Ну, почему?

Понять такую степень скромности она не в силах.

Джамус снисходительно усмехается:

– Просто хочу, чтобы во мне видели человека, а не чин. Там у каждого сачкаря есть пара таких погон. Я – боевой офицер и не хочу, чтобы меня ставили с ними на одну доску.

Теперь восхищению девушки нет предела.

– Но разве это не влияет отрицательно на ваших подчиненных?

– Напротив, – уверяет ее Джамус. – Хороший командир ведет своих солдат не погонами, а силой своей личности. Кроме того, рядовые любят начальников, которые ведут себя просто. А если встречают нас в Тель-Авиве в форме рядового, то уважают еще больше.

– А в лагере вы носите свои знаки различия?

– К сожалению, приходится, – стонет Джамус, подмигивая мне. – Пожалуй, придется их сейчас надеть.

– А вы кто? – спросила меня девушка.

– Кто? Он? – влезает Джамус, не успев я открыть рта. – Он военный писатель.

– В самом деле? – ахает девушка.

Я тоже резко вырос в ее глазах. Хотелось мне сказать ей правду, что армия никогда не наделяла меня этим высокопарным титулом, что на самом деле я жалкий командир жалкого взвода боевой роты. Но надо ли мне портить чудесную игру Джамуса? Поэтому я вытаскиваю из кармана «свои» погоны и водворяю их на «законное» место.

Правда в том, что мы таскаем с собой эти штуки, чтобы в случае плена остаться в живых. Мы знаем, что обе стороны убивают в первую очередь рядовых пленных, а не офицеров. Никакого отношения к великодушию или уважению это не имеет: простая военная логика. Разведка требует, чтобы попавших в плен офицеров доставляли ей для получения информации. Мы после долгих споров решили, что хотя, вроде бы получается, будто в наши планы входит попасть в плен, мы, если так обернется, сможем быстро надеть эти знаки различия, чтобы спасти свою жизнь. А если когда-то придется объяснить этот поступок своим, что-нибудь придумаем.

Начав таскать с собой запасные погоны, мы поняли, что они полезны и в менее опасных ситуациях. Офицеру гораздо проще остановить попутку. Всякий долбодур проревет на полной скорости мимо простых солдат, но сочтет за честь остановиться перед капитаном или старлеем, чтобы подвезти его.

Правда, один раз мы просчитались, остановив машину комбрига: слишком поздно узнали его в лицо. Он, должно быть, очень удивился, увидев, как два офицера вдруг развернулись и драпанули во всю прыть на другую сторону дороги.

– Мальчики, у вас сигареты не найдется? – спросила девушка.

Сигареты у меня в кармане, но я не могу дотянуться до них с девушкой, сидящей на моей ноге.

– Подвиньтесь чуть вправо, – попросил я ее, и она тут же оказалась на коленях Джамуса. Я достал пачку и вытащил три штуки.

– А теперь, – повернулся я к Джамусу, – достань, пожалуйста, зажигалку.

Проглотив ругательство, он сдвинул девушку мне на колени и стал рыться в карманах.

Мы доехали до перекрестка Бейт-Даган. Нехемия, который должен был нам завидовать, гнал, как черт.

– Мальчики, может быть, подкинете меня до Сарафанда? – попросила девушка.

Джамус посмотрел на меня. Мы, конечно, могли потерпеть еще четверть часа в такой позе, но наши солдаты стояли в открытом кузове, продрогнув в мокром обмундировании.

– К сожалению, не можем, – огорчился Джамус. – Мы должны прибыть на важное патрулирование, но если хотите, подвезем вас до Ришона.

– Нет, спасибо, – сердито ответила девушка, очевидно, привыкшая к тому, что солдаты выполняют любое ее желание. Наверно, считала, что имеет на это право, посидев у нас на коленях. Джамус, как джентльмен, помог ей сойти.

Поехали дальше.

На полпути до Ришона мотор закашлял, и машина стала. Нехемия, кляня всё на свете, вылез, поднял капот, что-то проверил и покачал головой. Грузовик наш сдох. С военными машинами это случается: разгильдяи-водители жмут из нее всё, что можно, пока она не загнетса.

Марроканцы сидят в кузове, как мороженые сельди. Янек заявил, что малость разбирается в машинах, и стал копать в моторе. Солдатам не выдали зимнего обмундирования. Много из того, что было нам предназначено, потерялось по дороге. Сперва позаботились о себе рабочие на складах, потом – командиры, потом – «ветераны», а новым иммигрантам не осталось почти ничего. Мы уже отдали им наши плащи. Мерзнем и клацаем зубами.

– Давай попробуем, – говорит Янек.

Нехемия поворачивает ключ, и вдруг все вспыхнуло ясным пламенем. Янек превратился в огненный столб: загорелась его пропитанная бензином роба. Беспомощная суматоха. Марокканцы спрыгнули на землю. Я ищу одеяло, но ничего не нахожу. Один Янек владеет собой. Он катается по песку и гасит пламя.

Нужно немедленно отвезти его в госпиталь. Его лицо и руки почернели, одежда изодрана и обгорела. Надо вернуться на полицейский участок Бейт-Даган и оказать ему первую помощь, но как добраться туда без машины?

– Я могу идти, выстукивает зубами Янек.

Я отправляюсь с ним. Шагаем. Может быть, холодный ветер немного смягчит его боль? Считаю шаги, чтобы не думать. Янек скрежещет зубами, и молча, идет.

На полпути нас догнал наш грузовик: им удалось завести мотор. Джамус подсаживает Янека, и они едут в Яффо. Я возвращаюсь к солдатам. Стоят у дороги, как овцы без пастуха. Один лежит на земле. Когда закричали «Огонь», он выпрыгнул головой вниз, как пловец, и, наверно, получил контузию.

Опять полил дождь. Нам остается лишь ждать возвращения машины. А пока все мы можем схватить воспаление легких. Едет какой-то грузовик. Я выхожу на дорогу и махаю. Он чуть не переехал меня и промчался мимо, будто водитель меня не заметил.

Тянутся минуты. Кто-то уже закашлял. Шепчутся между собой по-французски. Могу только разобрать, что говорят они о старых добрых днях в Марокко до того, как ими овладела сумасшедшая мысль пойти добровольцами в израильскую армию. Мокрая дорога ранним утром не лучшее место для воспитания идеалов сионизма.

Десять минут. Двадцать минут. Вот вдалеке показались чьи-то фары. Я стал посреди дороги и замахал руками, как ветряная мельница. Добротная частная машина, на которой можно бы отвезти раненого. Водитель вильнул вокруг меня, задрал два колеса, и умчался, не снижая скорости. Видно, поднаторел уже в таких трюках.

– Вот паскуда кладеная! – выругался я. – Восемь месяцев назад ты бы сюда носа не сунул и был бы счастлив увидеть вязаную кипу. А теперь ты стал героем, дыра! Тебе плевать, что полроты тут стоит. Главное чтобы она завтра вернулась на свои вонючие позиции защищать тебя. Чтоб арабы отрезали тебе уши и засунули их в твой вонючий рот!

Дождь усилился. Водитель стал для меня символом ненавистного «штаба». Тех, кто лежит в теплой постели и презирает нас, кто подорвал наш дух, развалил нашу часть и навязал нам проклятую дисциплину, кто разжирел на теплой крови наших товарищей. Этих неблагодарных свиней надо проучить...

Я вытащил пистолет. Все вдруг замолчали. Во внезапной тишине щелчок предохранителя прозвучал, как удар о рельс.

Я солдат, и я знаю, что мой долг расстрелять всякого, кто бросает раненого товарища. На курсах командиров взвода меня учили, что я имею право расстрелять подчиненного, если он отказывается идти в наступление или бежит от врага. Я знал, что такая ситуация возможна и что я должен буду применить оружие и даже стать убийцей, чтобы утвердить закон, от которого зависит наша жизнь. Это неприятный долг. Но сейчас кровь закипала во мне и кружила голову. Я знал, что если придется, я употреблю свое оружие.

Вдали показалась еще одна пара огней. Я заметил, что солдаты вокруг меня затаили дыхание. Едет грузовик. Водитель должен видеть меня, но не снижает скорости. Я дую в свисток. Фары осветили пистолет в моей руке. Водитель резко затормозил.

– Возьми раненого и отвези его в госпиталь в Билу.

– Но я еду в Гедеру.

Я направил пистолет ему в грудь.

– Ладно, ладно, – заикается он. – Подсадите его.

– Залезайте, скомандовал я солдатам, и они забрались в кузов.

– Я никого не возьму. Только раненого, – заартачился водитель.

– Не возьмешь? – спрашиваю я с улыбкой.

Кровь во мне перекипела. К нему я чувствую только презрение. Он берет двадцать человек и отъезжает.

Нас осталось еще двадцать пять. Если постоим так еще пять минут, все станут больными. Я совсем выдохся, но знаю, что если половина из нас заболеет, удерживать позицию мне придется с оставшейся половиной. А это значит, на каждого вдвое больше караулов и вдвое больше риска.

– Шагом марш! – командую я.

Никто не пошевелился.

– Ты, ты и ты!

Я толкаю их вперед. Один лежит на земле.

– Встать! – кричу я и стреляю в землю.

Солдат встает. Мы двинулись. Наши окоченевшие члены постепенно оттаивают.

– Запевай!

Запеваю я сам фривольную французскую песенку, которой они научили меня. У меня плохой слух. Даже в лучшее время певец из меня никудышный. А сейчас я вою, как шакал с простуженным горлом. Ну, и фиг с ним!! Сперва подпеваает один, потом другой, потом третий.

* * *

Ах, милая блондиночка,
Как сладко спать с тобой...

* * *

Мы смеемся и шагаем. Все насквозь промокли, дорога скользкая, но настроение поднимается.

Сзади нас нагоняет машина. Я размахиваю пистолетом и стреляю в воздух: вступление к началу переговоров. Но тут не до шуток.

– Ты что, спятил? – слышу я голос Джамуса, который вернулся из госпиталя на нашей машине.

Солдаты лезут в кузов. Я сажусь рядом с водителем.

* * *

Дождь, дождь, дождь...

Военный автобус перегружен. Рано утром, до рассвета, мы займем позицию, наши марокканцы впервые окажутся на фронте, а я буду впервые командовать операцией. Мы смогли провести с ними несколько занятий с ружьями и одно – с пулеметом. Но ни часа полевых или ночных учений. По плану занятий, первой идет строевая подготовка на плацу: военному начальству она представляется более важной.

Дождь. Из-за него позиция превратится черт знает во что. Все оружие будет в грязи, а на ботинки налипнут тяжелые комья. Какой дьявол придумал вести войну под дождем?

Джамус стоит у двери, дирижируя пением. У него хороший голос, и видно, как он им доволен. Солдаты поют. О чем они думают в эту минуту? Что на фронте их ждет романтика? Через двенадцать часов они узнают, что такое фронт – окоп с грязью по колено. В моей голове возникла картина: рота новобранцев с бодрой песней идет в атаку на Бейт-Джамаль. Сто молодых парней. Десять или двадцать из них вернутся своими ногами. Других привезут в моем джипе, окровавленных и стонущих. А остальные вообще не вернутся. Фары выхватывают полосу колючей проволоки с застрявшей в ней простреленной британской каской. Где мы оказались? Ну, конечно, это позиция 125. Сюда мы гнали всю ночь на джипах, пока не миновали египетские траншеи. На обочине лежало чье-то тело, и мы не знали: египтянин или наш.

– Внимание! – кричит Джамус. – Здесь у нас началось большое ночное наступление...

Мы не только командиры взвода, но еще политруки и учителя истории. Мы должны сплотить личный состав. Это важная задача. В перечне служебных обязанностей она не указана. Кем был тот солдат на обочине? На нем британская стальная каска, какие носили египтяне. Но в бою за позицию 125 наши солдаты тоже носили такие каски.

Темно. Мелкие капли дождя, пение, знакомое тепло группы молодых парней. В моем уме рождаются слова и сами складываются в стихи: один из грехов моей юности. Никаких задатков к поэзии. Я слишком рано увлекся военными и политическими темами. Но не могу сдержать себя.

Лежит он, забыт в канаве,
А мы устремились к бою.
Мечтал о победе и славе?
Но пуля нашла героя.

* * *

Ревет мотор, солдаты поют, а я вижу его, лежащего на спине рядом со своей каской.

* * *

Я никогда не узнаю,
Своим он был или нет.
Смерть нас всех уравнивает,
И тот же у крови цвет.

* * *

Когда я его увидел? С тех пор прошло почти пять месяцев. Его семью давно известили. Штабной писарь достал завещанное письмо: «Прошу в случае моей смерти...»

* * *

Тихо грустит его мама,
Горестны мысли отца.
Где он, наш мальчик упрямый?
Нет от него ни словца.

* * *

Странно. Он положил голову на руку, будто спит. Маленький мальчик заблудился и прилег отдохнуть у дороги.

* * *

Мама, твой сын усталый
Заоблачный видит сон.
В чьем бы он ни был стане –
Братский ему поклон.

* * *

В чьем бы стане ни был этот солдат. Не странно ли? В нашем поколении нет людей – только немцы, англичане, русские, арабы или израильтяне. Они имеют право на жизнь только в лоне своей нации. С колыбели их учат вставать по стойке смирно. Если ты израильтянин – смирно! Ты должен петь детские песни и читать детские книжки, которые сочинил для тебя твой народ – вольно! Ты можешь играть в какие хочешь игры – но военные! А когда пойдешь в школу, то узнаешь, что с сотворения мира твой народ истреблял другие народы, а другие народы хотели истребить твой. Всё прочее – вздор. В две шеренги становись! Запоминай, как

двигаются взрослые люди твоего народа. Ты будешь думать так же, как они, говорить то же, что говорят они, двигаться, как они – направо - равняйся! Родина в опасности – равнение на середину! Террористы хотят нас уничтожить – шагом марш! «И будет покоиться земля восемьдесят лет...»²¹

Марокканцы поют. Пусть поют. Завтра утром, когда я дам им команду рыть окопы, они заплачут. Как красивы их французские песни, хоть я их почти не понимаю. Это жизнерадостные песни. У нас таких нет. Наши песни печальные. Даже марши. Может быть, так и надо. Мы можем дурачиться и хохмить. Даже когда в нас страдание и собачья усталость. Только счастье обходит нас десятой дорогой. У нас нет радостей. Мы не умеем наслаждаться жизнью. Жалкие удовольствия: кино, танцы, похоть. И ничего больше. У нас не было времени стать развитыми людьми. Нам было недосуг: игры с оружием, листовки, подполье – вот и все радости нашей жизни.

* * *

Девочек нет, нет, нет,
Девка тут, тут, тут,
На коленях у меня...

* * *

Марокканцам весело. У нас нет таких песен. Даже наш государственный гимн похож на плач.

Моя рука натывается на что-то теплое. Кто это? А, это маленькая Шула. Я машинально поглаживаю ее. Она прижимается ко мне. До этого мне не приходило в голову, что Шула – женщина. Она миниатюрная, смуглая и очень тихая. Никто не обращает на нее внимания. Работает где-то в батальоне. На складе, на кухне, в радиослужбе? Понятия не имею.

* * *

Будем пить – да, да,
Пить нельзя – нет, нет,
Пей до дна, пей до дна...

* * *

Вокруг темно, дождь барабанит по крыше. Снаружи холодно, а здесь тепло и уютно. Тела пятидесяти парней, которых завтра убьют или ранят.

Моя рука проскальзывает под ее пуловер и плавно движется по телу, такому ласковому и крошечному. А мы и не знали... Ее рука ложится мне на спину.

Автобус въезжает в освещенный лагерь. Я убираю руку, и она отворачивается: свет смутил ее.

Солдаты, галдя, выбирают из автобуса.

– Есть дело, – говорит Джамус. – Нужно проследить за упаковкой оборудования. Начнем в три.

– Сейчас вернусь, – отвечаю я нехотя.

Джамус поднимает брови и смотрит понимающе.

– Ладно, – передумывает он. – Не к спеху. Я как-нибудь справлюсь.

²¹ «Книга Судей» 3:30

После того, как Янек заболел, мы вдвоем отвечаем за пятьдесят человек, говорящих на пяти языках.

Мы с Шулой идем к палаткам. Всё еще моросит. Я держу толстую куртку над нашими головами. Хорошая куртка. Досталась мне после боя в Бар-кохбе. Носил ее когда-то толстый сержант, которого закололи кинжалом, и он лежал там на поле среди других трупов. А куртка осталась целая, потому что он оставил ее в бункере. Сейчас она укрывает нас сверху, а под ней я обвил рукой крошку Шулу.

Шула замедляет шаг. В штабных палатках тихо. Где-то похрапывают. Светло только под навесом для радио, где женский голос бормочет бессмысленные слова. «Хелло – Боас – Гимель – Моше – Гимель – пять – перехожу на прием – Боас – Гимель – конец связи».

Мы обходим освещенный участок и теряемся среди палаток. Лагерь еще новый. Палатки девушек чище, чем палатки парней. Полы выложены плиткой, и есть низкие стенки из камня.

– Здесь я живу, – говорит она.

– Да.

– Шалом!

– Я зайду с тобой.

– Нет.

Она вздрогнула и крепко вцепилась в меня.

Я взял ее на руки и, пригнувшись, вошел в палатку. Минуту привыкал к темноте. В палатке пять коек. На четырех спят солдаты. Я опустил Шулу на пятую, лег рядом с ней и расправил над нами одеяла. Пружины койки скрипнули.

Шуле не по себе, она опасается каждого звука, чтобы не разбудить соседок. Я прижимаю губы к ее рту. Она медленно разжимает свои. Мой язык отыскивает ее язык, они сливаются в объятии и заводят беседу.

– Оставь меня, – говорит ее язык. – Если нас накроют, ты попадешь на гауптвахту.

– Дурашка, – отвечает ей мой язык. – Там тепло и сухо, а в окопе холодно и сыро. Часовой принесет мне пива из столовой. Ты придешь навестить меня, а на фронте меня заменит другой командир взвода.

– Будет большой скандал, – говорит ее язык.

– Крошка моя хорошая, – отвечает мой язык. – В Ирак-Элмади не бывает никаких скандалов. Здесь только смерть и оторванные ноги.

– Ты не должен умереть! – обвивают меня ее плачущие руки.

– Мы все умрем, – отвечает моя рука. – Все мы. Но мы не хотим умирать, и поэтому прячемся в раскисших окопах, ползаем по грязи и становимся противней любой скотины.

– Забудь об этом! – умоляет ее тело.

– Я хочу забыть, – отвечает моя рука. – Снаружи холодно, и там поджидает смерть, а ты такая милая и нежная...

Скрипит чья-то койка, и сонный девичий голос спрашивает:

– Это ты, Шула?

Она деревенеет от страха рядом со мной и бормочет:

– Да.

– Там было хорошо?

– Чудно.

Койка опять скрипнула, и вскоре мы услышали глубокое ровное дыхание.

Я целую Шулу до бездыханности, сжимаю ее тело до хруста в костях, и на миг мы забываем обо всем мире за палаткой, отвратительном мире, и прекрасная вскипающая сила жизни обрушивается на нас лавиной ласкового тепла.

Потом нас охватывает глубокая грусть. Мы лежим без движения, щека к щеке, и ее дыхание ласкает мою шею. Как бы хотелось мне оставаться вот так до скончания дней, до

скончания ужаса. Но я знаю, что через час я встану и поведу двадцать три молодых парня на бойню, и что ни один из нас не вернется без телесных или душевных ран.

* * *

Пылинки дождя, нежные, невесомые...

Мы с Джамусом решили, что хватит и одного командира взвода, и поэтому мы можем время от времени по очереди исчезать. Раз в неделю он отправляется к главному врачу в Реховоте, а я – к зубному в Тель-Авиве.

Зубы у меня, слава богу, в порядке, но есть записка от врача с какой-то латынью. Я использую ее, когда хочу устроить себе небольшой отпуск. Наш сержант не знает латыни.

Заглядываю в свою палатку, запикиваю в рюкзак грязное белье с прочитанными книжками, и остается только подписать бумажку у медика, чтобы отвалить в Тель-Авив. Наша палатка – оазис в пустыне лагеря. Здесь мы собрали все трофеи за прошлый год: глубокое кресло, «одолженное» у «Иргуна» после «Альталены»²², всякое барахло, которое я прихватил в Худаде, два стула из кафе, обошедшиеся нам в немыслимую цену из двух порций мороженого, складной стул из каптерки египетского батальона и комод, который мы нашли в брошенной казарме англичан. С таким скарбом можно на жизнь не обижаться.

По пути в медпункт я встретился глазами с уставившимся на меня Фини из штаба батальона. У Фини круглые плечи и всегда трагическое лицо. Никто не знает, в чем состоит его служба.

– Хорошо, что встретил тебя, – говорит он, хлопая меня по спине. – Есть для тебя работка.

– Извини, – быстро отвечаю я. – Нет времени.

У Фини нет никакого звания, и я не обязан выполнять его приказы.

– Не удирай. Послушай сперва, в чем дело. Это гуманитарный вопрос.

– Гуманитарный вопрос?

– Мне нужно набрать несколько добровольцев для траурной церемонии.

– Что еще такое?

Поминальные церемонии мне давно осточертели. Всю войну я пытался от них увильнуть.

– В чью честь?

– Пойдем на могилу Санчо. Через полчаса приедут его родители.

– Не мели вздор. Санчо не хоронили. Его оставили на поле.

– Ты ошибаешься, мой дорогой друг! – Голос Фини стал совсем мягким. – Санчо похоронили по обряду и закону.

Он назвал мне место.

– Не делай из меня идиота. Санчо мой лучший друг, я точно знаю, что он был одним из двенадцати раненых, которых оставили в Бейт-Джалале!

Фини теряет терпение:

– Возьми молоток и вбей себе в башку: Санчо похоронили. Мы вырыли ему достойную воина могилу, и даже надпись на ней сделали.

– Врешь!

Он пожал плечами.

– Как знаешь. Если ты готов рассказать им, что Санчо бросили на поле боя... Дело твое. Родители будут здесь через полчаса.

Я замолчал. Мне никогда не приходило в голову, что у Санчо были родители.

²² Судно, доставлявшее оружие «Иргуна», которое подошло к берегу уже после провозглашения Израиля. Отказ «Иргуна» передать всё оружие государству стал причиной столкновения, при котором погибло двадцать человек. Эта операция считается поворотным пунктом в отношениях между подпольными движениями и государством.

– Слушай внимательно, приятель, – наставлял меня Фини. – С меня и с тебя хватит просто знать, что Санчо погиб. Конечно, египтяне где-то его зарыли. Но родителям этого мало. Им нужна могила.

– Тогда отведи их к любой земляной куче, и пусть они над ней поплачут.

– Я психолог, – объяснял Фини. – Самое главное для человека это то, во что он верит. Его родители утешатся, если будут знать, что их сына достойно похоронили. Это поможет им пережить трагедию, пока они не привыкнут к мысли, что его больше нет.

– Поищи для своего театра кого-нибудь другого.

– Хватит тебе упрячиться, – сказал он, похлопав меня по плечу. – Друзья должны помогать друг другу. Обещаю, что, если по воле Божьей ты окажешься среди мертвых, я приведу твоих родителей к аккуратной могиле с надписью.

– Премного благодарен!

Мы отъехали. На невысоком холме уже была свежая могила. И на ней табличка с надписью среди цветов. Никто из товарищей не знал настоящего имени Санчо. После того, как я так его окрестил в лагере для новобранцев, никто во всем батальоне не звал его иначе.

Могила. Удивительно, до чего изменилось наше отношение к могилам после первых боев.

Тогда павших хоронили с подобающими воинскими почестями. Командир роты произносил прощальное слово, а мы трижды стреляли в воздух. Еще несколько месяцев мы рисковали жизнью, чтобы вынести с поля боя тела убитых товарищей. Но потом решили, что это глупо: покойнику не станет легче от того, что он рядом с ним окажется еще один покойник. О могилах мы больше не думали. Это стало привычной работой: тела надо просто собрать и закопать. Мы старались держаться от этой работки подальше.

* * *

Родители Санчо оказались простыми людьми. Их лица избородили годы тяжелого труда. Глаза отца покраснели, мать иногда громко всхлипывала. Отец ласково похлопывал ее по спине, и она замолкала. Санчо был их единственным сыном.

Странный у него был характер. Он возненавидел войну с первого дня и смеялся над остатками возвышенных чувств, всё еще сохранившимися в нас. Каждый день он вновь доказывал нам, что мы жертвуем собой ради шайки сачкарей. У него не было никаких иллюзий, и он делал всё, чтобы развеять наши.

– Почему ты еще здесь? – постоянно спрашивали мы его.

– Я? – Он удивленно отбрасывал со лба жиденькие волосы. – Так меня не отпускают. Как только объявят курсы, на которые можно смотать, сразу смотаю.

Первыми оказались курсы радистов.

– Месячная гарантия жизни! – обрадовался Санчо, и тут же попросил записать его.

Через месяц он вернулся, и с тех пор шел на боевую операцию с 35-фунтовым ящиком за спиной.

Как радист он участвовал в штыковой схватке в Бар-кохбе. Редкий счастливец: вернулся оттуда без царапины. А на следующее утро сказал, что с него хватит.

– Чего это ты? – спросил я.

– Поверь Санчо, – буркнул он в ответ.

Он отправился к ненавистному батальонному врачу, которого многие охотно расстреляли бы. Рассказывали, что один солдат пришел к этому доктору с оторванной головой.

– Ты у меня не закошишь! – сказал ему врач. – Видал я таких. Бери аспирин и валяй отсюда, пока я не сказал твоему командиру, чтобы отправил тебя на губу.

Санчо пошел к доктору и пожаловался на приступы депрессии. Доктор дал ему аспирин и два дня отдыха. Санчо выбросил аспирин в сортир и стал читать «Тропик Козерога» Генри Миллера.

На третий день он вернулся к доктору в приподнятом настроении, подхватил его на румбу и протанцевал по всей больничке. Доктор еле вырвался из объятий и сделал Санчо успокаивающий укол.

Жизнь доктора превратилась в ад. Каждое утро Санчо придумывал что-нибудь новое. Иногда он слышал канонаду и прятался под столом, а один раз гонял доктора по всему лагерю, демонстрируя штыковую атаку.

Мы были в восторге от этой дуэли и заключали пари, кто из них спятит первым: Санчо или доктор. Оба крепко стояли на своем и не думали сдаваться. В конце концов, доктор решил, что Санчо на самом деле спятит и организовал его доставку в психбольницу.

В тот вечер Санчо пошел со всеми в большое наступление на Ирак аль-Мади. Никто не знает, что ему тогда взбрело в голову. Удружил этим другому радисту, которому надо было что-то уладить в Тель-Авиве. А, может быть, просто решил так попрощаться с фронтом.

Почти все участники той атаки были убиты или ранены, а уцелевшие не смогли вынести всех раненных. Когда начало светать, они уложили двенадцать тяжело раненных под кактусами в нескольких шагах от египетских окопов, чтобы забрать их следующей ночью, а когда вернулись, их там уже не было. Среди двенадцати пропавших был и Санчо...

* * *

Офицер произнес надгробное слово: «Он умер за родину... Поколения запомнят его...» Вдруг Санчо появился рядом со мной, прислонился к дереву, пробежал пальцами по своим тонким светлым волосам. И подмигнул мне.

– Сионизм! – шепнул он мне. – Скукотища. Что ты тут делаешь?

– Санчо, – ответил я шепотом. – Это тебя здесь хоронят. Церемония в твою честь.

– В мою честь? – удивился он. – На хер мне эта церемония! Какую фигню они там несут?

Речь продолжалась, и я мог дословно предсказать в ней любую фразу. «Мы клянемся у твоей могилы... что не свернем с твоего пути...»

– Вот дураки, – выругался Санчо. – Что они там мелют? Разве нас всех не ждет могила? А если мы все умрем, кто будет здесь стоять и салютовать?

– Великая жертва, – продолжает оратор. – Он пожертвовал собой, как и мы готовы отдать наши жизни за родину...

Санчо заржал во весь рот:

– Родина? Какая родина? У меня нет родины. Родина есть только у живых. Ее нет у мертвых. Если бы я остался жив, я бы что-то сделал. Может быть, обновил бы свою мастерскую. А что я могу сделать сейчас? Только удобрять землю.

– Он был одним из первых, кто вступил...

– Разве у меня был какой-то выбор? – произнес удрученно Санчо. – Все говорили мне, что я должен так поступить. Первыми были родители, потом учителя, потом вожаки молодежи. Все твердили, что мы должны служить нашей родине.

Он поскреб за ухом, как делал всегда, перед тем как изречь нечто философское.

– Знаешь? Чтобы понять, как следует жить, нужно сперва умереть. Тогда возникнет дистанция.

– Наша победоносная армия никогда не забудет... – понесло оратора.

– Хватит тебе дурака валять, – огрызнулся Санчо. – Какие вы к черту победоносные? Вы побитые. Ну ладно, вы сдержали египтян. А чего вы этим достигли? Страна, о которой вы мечтали в окопах, умерла, не успев родиться. Вместо нее создано государство, в котором

жируют бюрократы за ваш счет, а дезертиры нас – пинком под зад. Всё будет таким же, как раньше. Только получите свой флаг и герб, и начнете готовить следующую войну на свою...

– Мы почтим его память, исполнив его волю, – продолжал вещать оратор. – В любое время, в любой обстановке до конца наших дней мы будем готовы откликнуться на призыв нашей родины и выступить в поход на врага...

– Вот видишь, я тебе это только что сказал, – рассмеялся Санчо. – Вы неисправимы. Вы уже мечтаете о новой войне и героической смерти.

– А чего бы ты хотел? – спросил я его примирительно. – Разве нам не нужно идти в поход на врага? Разве мы должны ждать, пока придут арабы и перережут нас?

– Дурак набитый! – набросился на меня Санчо. – Ты никогда умом не отличался! Пока родина не призовет вас. Так сделайте что-нибудь сейчас, чтобы родине не было надобности вас призывать! Видишь ту высотку, – показал он рукой на дальний холм, где была Бар-кохба. – Там осталось несколько убитых египтян. Я иногда прихожу туда. Глуповатые они, но с ними я могу столкнуться. Они погибли, и я тоже. Нам от этой бодяги уже ни жарко, ни холодно. Но ты еще можешь что-то сделать! Поэтому тебе не нужно умирать. Пойди с ними в их поселок. Подумайте, как избежать войны. Перестаньте играть в героев! Но я знаю вашу братию – все вы полные придурки!

Офицер закончил речь и утер пот со лба. Мать зарыдала в голос, будто прорвало плотину на реке.

– Успокойся, – говорил ей старик, ласково поглаживая. – Мы должны принять свою участь.

Он прикрыл ей лицо, будто ему стало неловко за ее слабость, но потом разрыдался сам.

– Он был такой молодой! Зачем нам дальше жить?..

Санчо посмотрел на них с жалостью и спросил:

– Кто это?

– Тебе не стыдно? Это твои родители!

– Да? Вроде, хорошие люди. Что они тут делают?

– Они пришли на церемонию в память о тебе.

– Церемония в память? А зачем мне она? Что они могут для меня сделать?

Он опять поскреб за ухом.

– Знаешь что? У меня есть мысль. Сейчас я сам произнесу поминальную речь.

– Не дури! Никто не произносит поминальную речь по себе.

– А вот увидишь!

Одним прыжком он вскочил на земляной холмик и обратился к родителям.

– Я погиб – вы меня слышите? Сейчас я мертвый. Мертвый! Умер! Мне не нужны ваши поминальные церемонии. Вас я ни в чем не виню, но вы должны сделать что-то для других сыновей и других родителей. Выйдите на улицы и кричите во весь голос! Вы слышите меня? Кричите! О том, что двадцать четыре года вашей заботы обо мне пошли коту под хвост. О том, что я погиб, не успев ничего сделать в жизни! Кричите другим родителям, что они не должны разрешать своим детям идти на войну. Они должны это запретить!

А вы, – обратился он ко всем нам, – стадо ослов. Хватит плести волшебные сказки, что война – это увлекательное приключение. Идите и прокричите правду! Что вы ненавидите войну, что вас от нее воротит! У вас есть младшие братья. Расскажите им правду, чтобы не выиграло в них похотливое желание попасть на войну, где они погибнут. Если в вас осталась хоть капля жизни, не стойте здесь, как беспольные истуканы. Сделайте свою страну достойной – такой, где вы сможете жить как люди, а не как покойники, только и ждущие приказа отправиться строем на небеса. Это зависит от вас – слышите? – только от вас!

* * *

Кто-то пнул меня под зад.

– Ты чего рот разинул? Церемония давно кончилась, – сказал Фини.

Мы пошли к машине. На лице Фини была написана горькая печаль.

– Я сам терпеть не могу этих траурных церемоний, – сказал он. – Но что поделаешь?

Родителям это нужно.

Он замер, будто устав от ходьбы, у пустой могилы. И добавил жалким и взволнованным голосом:

– Что делать? Если война затянется, всем нашим родителям понадобятся для утешения такие могилы.

Солдат

Сквозь холодное тусклое окно
пробивается первый свет
нового дня:
шестнадцатого декабря тысяча девятьсот сорок восьмого года.
Дождь перестал.
Странно тихо в палате.
Тихо, как никогда.
Чего-то здесь нет.
Что-то ушло.
Что оно?
Не стало ржавого скрипа.
Раненый рядом затих,
свесив голову набок.
Он перестал дышать.
Сгинул.